

1858

КАВЕНЬЯК ¹

I

По случаю смерти Кавеньяка в иностранных газетах явилось много статей, обозревающих его государственную деятельность; находя интересными факты, представляемые в некоторых из этих статей, мы приводим здесь, так сказать, свод их. Дела эти нам совершенно посторонние, мы не можем иметь никакого особенного сочувствия ни к одной из партий, участвовавших в событиях, которым подвергалась Франция в последнее время; мы видим только, что каждая из этих партий наделала много ошибок и что вследствие того события имели гибельный ход. Читатель заметит, что этот взгляд господствует в представляемой статье; он заметит также, что этот взгляд нимало не принадлежит нам, — мы только передаем то, что находим в источниках, которыми руководствовались.

Изгнанный из Франции переворотом 2 декабря², через несколько времени тихо возвратившийся на родину, чтобы закрыть глаза умирающей матери, потом несколько лет живший в уединении, чуждаясь политических дел, суровый победитель июньских дней долго оставался почти забыт молвою. Последние выборы, на которых его имя было выставлено символом начинающегося противодействия декабрьской системе³, [споры его друзей и противников о том, дозволяет ли ему честь дать присягу правительству, законность которого он не признает, худо скрываемые опасения людей 2 декабря, что он, воспользовавшись их собственным примером, произнесет требуемую присягу как формальность, не имеющую внутренней силы, и через то получит возможность явиться в Законодательное собрание представителями протеста против 2 декабря, честная решимость Кавеньяка не

делать никакой, даже внешней, уступки тому, что в его глазах было беззаконием, — все это снова привлекло] на бывшего диктатора внимание не только Франции, но и целой Европы. Несколькими месяцами все европейские газеты наполнились соображениями о том, какое значение имеет выбор его в депутаты. Несомненные признаки показали, что приближается время политического оживления для Франции, [что предводители ее политических партий, на время удаленные от государственной деятельности утомлением и апатией народа, снова будут призваны к участию в исторических событиях требованиями нации, пробуждающейся от дремоты]. Кавеньяку очень многие предназначали одну из значительнейших ролей в движении, близость которого равно предвидится во Франции людьми всех мнений. Потому внезапная смерть предводителя «умеренных республиканцев»⁴ Франции для многих его соотечественников была тяжелою потерей, для многих других — облегчением опасностей. Друзья Кавеньяка прямо выразили свою печаль, но враги его не отважились обнаружить своей радости: боясь признаться в шаткости своего положения тем, когда выразят удовольствие, что смерть Кавеньяка освободила их от одного из их страхов, они поспешили принять вид также огорченный и присоединить свои притворные сожаления к искренней скорби друзей покойного. «Moniteur», «Constitutionnel»⁵ и другие органы декабрьской системы наравне с «чистыми республиканцами» превознесли его «великие, безмерные услуги» Франции, называя его даже «спасителем отечества».

Но если многочисленны во Франции друзья и противники партии, предводителем которой был Кавеньяк, то еще многочисленнее люди, смотрящие на эту партию со спокойным беспристрастием, как на историческое явление, уже отжившее свой век, как на бесцветный остаток старины, бессильный в будущем и на добро и на зло, обсуждающие прошлую ее деятельность без всякого увлечения надеждами или опасениями. Они думают, что в панегириках над гробом Кавеньяка, внушенных одним искренностью чувства, другим — соображениями приличия и расчетливости, гораздо больше реторики или ослепления, нежели основательности. Они находят, что Кавеньяк, заслуживавший полного уважения, как частный человек, качествами своего характера, вовсе недостоин ни удивления, ни даже признательности как государственный человек; что при всем своем желании быть полезным родине он во время своего диктаторства принес ей гораздо больше вреда, нежели пользы, потому что убеждениям, руководившим его действиями, недоставало практичности, и действия его не соответствовали потребностям общества, которым привелось ему управлять. Его образ мыслей испортил все дело. Высокая честность, энергическая воля, добрые намерения — этих качеств совершенно достаточно для почтенной деятельности в размеренном круге частной жизни, где все определяется обычными

отношениями и объясняется многочисленными примерами. Этими достоинствами обладал Кавеньяк; но их мало государственному человеку, который постоянно находится в отношениях очень многосложных, в положениях, неразрешимых прежними случаями, потому что в истории ничто не повторяется, и каждый момент ее имеет свои особенные требования, свои особенные условия, которых не бывало прежде и не будет после. Без достоинств, уважаемых обществом в частном человеке, государственный человек не будет полезен родине; но, кроме их, ему нужны еще другие, высшие достоинства. Он должен верно понимать силы и стремления каждого из элементов, движущих обществом; должен понимать, с какими из них он может вступать в союз для достижения своих добрых целей; должен уметь давать удовлетворение законнейшим и сильнейшим из интересов общества как потому, что удовлетворения им требует справедливость и общественная польза, так и потому, что, только опираясь на эти сильнейшие интересы, он будет иметь в своих руках власть над событиями. Без того его деятельность истощится на бесславную для него, вредную для общества борьбу; общественные интересы, отвергаемые им, восстанут против него, и результатом будут только бесплодные стеснительные меры, которые необходимо приводят или к упадку государственной жизни, или к падению правительственной системы, чаще всего к тому и другому вместе. Так было и с Кавеньяком. Он наделал ошибок, которые дорого стоили Франции и низвергли его собственную власть. В нем не было качеств, нужных государственному человеку.

Не говоря теперь о том, хороши или дурны были цели Кавеньяка, скажем только, что имени государственного человека заслуживает единственно тот правитель, который умеет располагать свои действия сообразно этим целям; а у Кавеньяка каждое правительственное действие противоречило его целям, служило в пользу не ему, а его противникам. Вся его государственная деятельность обратилась только в пользу Луи-Наполеону. Тот плохой государственный человек, кто работает во вред себе, в выгоду своим противникам.

Но ответственность за ошибки Кавеньяка не должна падать исключительно на него. Она падает на всю ту партию, представителем которой он был, потому что он действовал не по личным своим расчетам и выгодам, а только как служитель известного образа мыслей, общего ему со всею партией «чистых республиканцев»; он постоянно руководился мнениями этой партии; ошибки его — не его личные ошибки, а заблуждения целой партии; ими обнаруживается несостоятельность для Франции того образа мыслей, которого он держался, «Чистые республиканцы» забывали, что политическая форма держится только тем, когда служит средством для удовлетворения общественных потребностей; они воображали, что слово «республика» само по себе чрезвычайно

привлекательно для французской нации; они хлопотали о форме, не считая нужным позаботиться о том, чтобы форма принесла с собою исполнение желаний французского народа; они мечтали, что народ, не получая от формы никаких существенных выгод для себя, станет защищать форму ради самой формы. И форма упала, не поддерживаемая народом.

С начала нынешнего века эта ошибка повторялась всеми партиями, господствовавшими во Франции. Каждая, увлекаясь своими формальными пристрастиями, воображала, что и нация разделяет ее пристрастие к известной форме ради самой формы, между тем как нация с восторгом приветствовала новую форму только потому, что ждала от нее блага себе; каждая система воображала, что нация не может жить без нее, и забывала о том, каковы были ожидания нации. Ни от одной системы не дождалась Франция исполнения своих надежд, и как только распространялось в нации мнение, что система не оправдывает надежд, на нее возлагавшихся, система падала. Так покинут был сначала Наполеон, потом покинута реставрация, потом июльская династия, потом и республика Кавеньяка и его друзей. Из истории всех наций и всех эпох выводится точно такой же результат: форма держится, пока есть мнение, что она приносит благо; она падает, как скоро распространяется мнение, что она существует только ради самой себя, не заботясь об удовлетворении сильнейших интересов общества. Форма падает не силою своих врагов, а единственно тогда, когда обнаруживается ее собственная бесплодность для общества.

История диктаторства Кавеньяка очень поучительна потому, что в ней с особенною ясностью раскрывается эта истина. Не силою своих врагов, не стечением неблагоприятных обстоятельств пало правительство Кавеньяка и чистых республиканцев: восторжествовавший противник был совершенно бессилен сам по себе, все обстоятельства благоприятствовали продолжению власти Кавеньяка уже во всяком случае не менее, нежели возышению Луи-Наполеона; единственно ошибки Кавеньяка погубили его.

Правление Кавеньяка было, как мы сказали, правлением партии чистых или умеренных республиканцев. Он стал ее предводителем, конечно, благодаря отчасти собственным талантам; но еще более обязан он своим возвышением в этой партии тому уважению, которое имела она к его отцу и особенно к его старшему брату.

Отец диктатора Жан-Батист Кавеньяк был сначала, как и многие другие политические люди Франции, адвокатом. При начале первой революции он сделался жарким ее приверженцем и был избран членом Национального конвента, в котором поддерживал все решительные меры, казавшиеся тогда нужными для борьбы с вандейцами, эмигрантами и европейскою коалициею. Несколько раз он исполнял важные поручения при армии и в провинциях и, всегда действуя твердо, не запятнал, однако же, себя жестокостя-

ми, которыми повредили общему делу некоторые из его товарищей по убеждениям. Он оставил детям имя, уважаемое французскими республиканцами, но знаменитость этому имени дали блистательные таланты его старшего сына Годфруа, который был одним годом старше второго брата, впоследствии сделавшегося диктатором Франции.

Годфруа Кавеньяк, один из замечательнейших публицистов французской республиканской партии при Луи-Филиппе, был сперва, подобно отцу, адвокатом и, подобно отцу, рано оставил для политической деятельности адвокатуру, которая при его чрезвычайных талантах обещала ему огромные богатства. В июле он сражался против Бурбонов⁶, был очень недоволен, когда низвержение Бурбонов послужило только к возвышению Луи-Филиппа, и один из первых начал восставать против новой конституционной формы. Через год орлеанское правительство уже предало его суду, как президента республиканского общества «Amis du Peuple»*. Он воспользовался этим случаем, чтобы громко объявить себя республиканцем, — решимость, которую имели тогда очень немногие и которая тем больше доказывала силу его характера, что пылкая речь в защиту республики была им сказана перед судом, уже за одно это признание имевшим власть осудить его. Заключенный потом в тюрьму, он бежал из нее подземным ходом, который тайком был прорыт в его комнату из соседнего дома. Товарищем его по тюрьме и бегству был между прочим Арман Марра⁷, впоследствии содействовавший возвышению его брата. Пять лет Годфруа прожил в Англии изгнанником. Республиканская партия во Франции была тогда еще очень слаба, и Луи-Филипп совершенно нерасчетливо придавал ей ожесточенными гонениями важность, которой она без того не имела бы. Общественное мнение, возмущенное излишеством этих гонений, вынудило, наконец, амнистию политическим преступникам. Годфруа Кавеньяк долго не хотел ею пользоваться; но крайние республиканцы, находившие, что «National»⁸, до той поры важнейший республиканский журнал, не довольно демократичен, убедили Годфруа возвратиться во Францию, чтобы быть главным редактором решительнейшего демократического журнала, который он вместе с Ледрю-Ролленом и стал издавать под именем «La Réforme»⁹. Отличаясь от редакторов «National'я» большою резкостью мнений, Годфруа Кавеньяк был, однако, и от них признаваем главою республиканской прессы во Франции. Действительно, после смерти Армана Карреля она не имела столь даровитого публициста. Изнуренный волнениями политической борьбы, Годфруа умер в 1845 году, за три года до февральских событий. Над могилою его различные партии французских республиканцев клялись забыть все раздоры, их разделявшие. Более нежели

* «Друзья народа». — Ред.

кто-нибудь другой после Армана Карреля Годфруа Кавеньяк способствовал распространению республиканских убеждений во Франции при Луи-Филиппе до 1845 года. Все отделы этой партии чрезвычайно уважали его.

Эжен Кавеньяк, младший его брат и воспитанник по убеждениям, родился 15 декабря 1802 года. Окончив курс в Политехнической школе, он сделался офицером; при июльских событиях он первый в своем полку объявил себя против Бурбонов; подобно брату, он был недоволен тем, что июльская революция кончилась в пользу Луи-Филиппа, и вообще известен был в армии как ревностный республиканец. Думая поставить его в затруднительное положение, полковник однажды предложил ему официальный вопрос, прикажет ли он своим солдатам стрелять по народу в случае восстания против Луи-Филиппа. Кавеньяк, не колеблясь, отвечал: «нет». Правительство не могло оставить без наказания офицера, который прямо отказывался защищать его, но с тем вместе не отваживалось и предать военному суду молодого штабс-капитана, который уже пользовался большим уважением в армии. Дело кончилось тем, что полковнику сделали выговор за неуместный вопрос, а Кавеньяка перевели в Алжирию. За республиканский образ мыслей и в особенности за то, что страшный Годфруа Кавеньяк был его брат, Эжену Кавеньяку всячески старались не давать хода, по возможности обходили его чинами, несмотря на блестящие подвиги. Вот один пример. Первым замечательным делом Кавеньяка была защита Тлемсена в 1836—1837 годах. Оставленный в этом отдаленном передовом укреплении с одним батальоном, без запасов провианта и амуниции, он целый год выдерживал блокаду и отбивал приступы многочисленных арабских отрядов, терпя недостаток во всем¹⁰. Продовольствие доставалось гарнизону только с битвы. Когда солдаты не могли получить полных порций, Кавеньяк сам брал себе порции еще меньше солдатских, своим примером ободряя их терпеть голод. Алжирская армия удивлялась геройской защите форта, но правительство не хотело награждать республиканца и его отряд. Все представления алжирского главнокомандующего о наградах тлемсенским офицерам были отвергаемы военным министром. Наконец нужно же было наградить Кавеньяка, — ему сказали, что он получит следующий чин; он отвечал, что не примет награды, если не будут награждены также все офицеры его отряда. Мнение армии вынудило эту уступку у министерства.

Несмотря на все затруднения, делаемые министрами Луи-Филиппа служебной карьере республиканца, бывшего братом ненавистному Годфруа, Эжен Кавеньяк в начале 1848 года был бригадным генералом и губернатором Оранской провинции, потому что равно отличался и военными и административными дарованиями. О благосостоянии своих солдат он чрезвычайно заботился; арабы прозвали его «справедливым султаном»; в армии

считался он одним из лучших генералов и едва ли не лучшим администратором. Если бы не опальное его имя и не республиканские мнения, он, вероятно, подвинулся бы гораздо быстрее в продолжение своей 14-летней воинской деятельности. Теперь пока он оставался не более как одним из генералов, занимавших в алжирском управлении вторые места после генерал-губернатора. В январе 1848 года никто не предполагал, чтобы скоро ему пришлось сделаться значительным человеком в государстве.

Но события 24 февраля 1848 года передали управление Францией в руки республиканцев, и господствующей во временном правительстве партией была именно та партия, к которой принадлежал по своим убеждениям Эжен Кавеньяк, — партия умеренных или чистых республиканцев, иначе партия «National'я». Эжен Кавеньяк, хотя и чрезвычайно любил брата, не был таким революционером, как Годфруа; он был, подобно ему, демократом, но вовсе не крайним демократом. Именно таково было и большинство временного правительства, — Марра, Мари, Гарнье-Паже, Араго, Кремье, Дюпон де л'Ор. Все они были друзьями Годфруа Кавеньяка, все сохранили очень сильное уважение к нему, хотя он иногда и упрекал их за то, что они несколько отставали от него.

Алжирская армия, в которой принцы Орлеанского дома имели многих людей, лично им преданных, и вообще пользовались популярностью, внушала временному правительству беспокойство в первые дни нового порядка вещей.

Надобно было отдать команду над нею испытанному республиканцу; из всех алжирских генералов ни на кого временное правительство не могло положиться с такой уверенностью, как на Кавеньяка, и одним из первых декретов, подписанных новыми правителями Франции, было назначение Кавеньяка генерал-губернатором Алжирии.

Он имел столько скромности и прямодушия, что сам понял и откровенно высказал причину своего быстрого возвышения в прокламациях, обнародованных им при вступлении в новую должность. «Вы, точно так же, как и я, — говорил он в прокламации к жителям Алжира, — знаете, что память о моем благородном брате, живущая между гражданами, меня избравшими, побудила их вручить мне управление делами Алжирии». То же самое выражал он и в прокламации к жителям Орана: «Моим назначением правительство хотело от имени нации почтить память доблестного гражданина, моего брата».

Этим прямодушным сознанием очень хорошо определяется и личный характер Кавеньяка, и его справедливое понятие о степени своих достоинств. Он сам указывает, что далеко не имеет гения, каким отличался его старший брат; что если бы не блеск, сообщенный его имени деятельностью брата, он не был бы замечен как человек, которого надобно выдвинуть вперед; но только человек, вполне уверенный, что своими достоинствами оправдает

выбор, которым обязан постороннему обстоятельству, уверенный, что никто не назовет его недостойным занятого им места, может так прямо и громко говорить, что еще больше, нежели самому себе, одолжен он своим выбором заслугам другого.

Вскоре представился Кавеньяку другой случай выказать редкую честность своих правил. Жители Алжира хотели выбрать его своим представителем в Национальное собрание. Он решительно отказался от этой чести, говоря, что его положение в Алжирии не позволяет ему принимать голоса, подаваемые в его пользу его подчиненными. Он хотел сохранить себя совершенно чистым от всякого подозрения в искательстве, в честолюбии, в желании пользоваться данной ему властью для какой-либо личной выгоды.

Парижское временное правительство давно знало бескорыстие его характера, его недоступность никаким соблазнам. Алжирская армия уже доказала, что вовсе не имеет намерения поднимать междоусобные смуты: она безусловно покорилась правительству, признанному Францией; временное правительство могло оставить Алжирию без Кавеньяка, воспользоваться его военными и административными талантами и редкими качествами его характера в должности еще более важной. Парижские работники, оружием которых восторжествовало восстание и в июле 1830 и в феврале 1848 года, волновались, не видя исполнения своих надежд от нового правительства, поставленного их содействием. Большинство временного правительства состояло из людей, желавших ограничить переворот 24 февраля чисто политическими преобразованиями без изменений в гражданских отношениях между классом капиталистов с одной стороны, классом, живущим наемной работой, — с другой стороны; эти изменения казались невозможными большинству временного правительства, а между тем их требовали парижские работники, поддерживаемые полным сочувствием своих сотоварищей по всей Франции. Для сопротивления им большинству временного правительства нужно было иметь и сильное войско, и хорошего военного министра, на которого могло бы оно положиться. В правление Луи-Филиппа система подкупов и фаворитизма расстроила военную администрацию, как и все отрасли государственного управления; беспорядки военного управления были таковы, что новое правительство не нашло в конце февраля 20 000 человек, готовых к открытию кампании в случае внешней войны, хотя армия считала 400 000 солдат. Нужен был хороший администратор для поправления этих беспорядков. Но потребность в армии на случай внешней войны была в глазах большинства временного правительства еще не такой настоятельной нуждой, как необходимость приготовиться к подавлению восстаний в самом Париже. После 24 февраля войска, побежденные инсургентами, были выведены из Парижа как по требованию победителей, опасавшихся реакции, так и для того, чтобы эти войска, нравственно униженные своим поражением, могли оправиться

духом вдали от улиц, напоминавших им о их разбитии. Нужно было теперь снова ввести сильный гарнизон в Париж, сосредоточить войска в окрестностях столицы, сделать заготовления амуниции и т. д. на случай междоусобных смут. Это мог исполнить только такой военный министр, который вполне разделял бы убеждения большинства временного правительства, потому что при малейшей нерешительности он легко мог быть задержан в своих вооружениях усилиями меньшинства временного правительства, находившегося в раздоре с большинством. Кроме всего этого, нужно было в военном министре совершенное бескорыстие, чтобы он, имея в своих руках фактическую силу, не поддался соблазнам властолюбия, остался верным сановником правительства, а не покушался быть его властелином. Всем этим условиям удовлетворял Кавеньяк. Характер его представлял совершенное ручательство, что он не употребит против правительства силы, которую ему дадут; он был известен как хороший генерал и отличный администратор. Нашлись бы и кроме него генералы, обладающие этими качествами, но было еще условие, которому никто не соответствовал столько, как он. Много было генералов, с радостью готовых драться против «черни», la canaille; но эти генералы были преданы Орлеанскому дому и враждебны республике; было несколько и республиканских генералов, но почти все они поколебались бы двинуть войска против своих соотечественников. Кавеньяк был несомненный республиканец, но с тем вместе готов был повести войска против граждан, сошедшихся принуждать республиканское правительство к уступкам, которых оно не хотело делать. Недаром, когда жители Алжира выразили желание, чтобы в Алжирии военное управление было заменено гражданским, он сделал им строгие упреки и сказал: «Энергия, состоящая в том, чтобы опираться на мнение масс, не исполняя своих обязанностей, — гнусная энергия, я отвергаю ее. Самый дурной закон лучше беспорядка». Ему послали назначение явиться в Париж для принятия должности военного министра. Он сказал, что примет ее только тогда, если ему позволено будет сосредоточить сильную армию около Парижа, — это было еще в марте, меньшинство временного правительства было тогда еще довольно сильно; оно воспротивилось этому требованию, соответствовавшему желаниям большинства, и Кавеньяк отказался от министерского портфеля. Прошло два месяца; отчасти ошибочные действия, еще более нерешительность и бездейственность очень ослабили влияние меньшинства во временном правительстве; выборы в Национальное собрание, произведенные под впечатлением этих ошибок и бездейственности, доставили решительный перевес партии умеренных республиканцев; когда временное правительство сложило свою власть перед Национальным собранием, Собрание передало ее «Исполнительной комиссии»¹¹ из пяти членов, между которыми только один не был из умеренных республиканцев; они

теперь стали полновластными правителями государства. Требование Кавеньяка сосредоточить сильное войско в Париже, прежде помешавшее вступлению его в министерство, теперь было новой рекомендацией для него, и когда он, избранный в Национальное собрание депутатом от департамента Ло, прибыл в Париж, Исполнительная комиссия тотчас же назначила его военным министром (17 мая).

В Национальном собрании он не был особенно блестящим оратором, но деятельность его по управлению министерством соответствовала надеждам, которые имели на него умеренные республиканцы. Он неутомимо заботился о том, чтобы иметь наготове такие силы, с которыми можно было бы в случае восстания подавить инсургентов.

Случай употребить в дело собранные силы не замедлил представиться. С небольшим через месяц после того, как начал Кавеньяк свои приготовления, восстание вспыхнуло, и вспыхнуло в таких ужасающих размерах, каких не достигала еще ни одна междоусобная битва в Париже, видевшем так много страшных междоусобиц. В продолжение четырех месяцев легкомысленное бездействие и разноречащие распоряжения временного правительства и его наследницы, Исполнительной комиссии, раздражали массу, обманываемую в своих надеждах, исполнение которых было ей формально обещано. Каковы были эти надежды, разумны или неразумны, все равно; дело в том, что их исполнение было формально обещано, дело в том, что были формально подтверждены ожидания, и когда гнев овладел людьми, не видевшими исполнения этим ожиданиям, когда отчаяние овладело людьми, увидевшими, что у них отнимается всякая надежда, удивляться тут нечему. Неудовольствие массы росло с каждым днем, и наконец меры, принятые Исполнительной комиссией по повелению Национального собрания для закрытия так называемых «Национальных мастерских» (Ateliers Nationaux), произвели взрыв.

История Национальных мастерских и трагического их окончания — самый печальный и вместе самый нелепый эпизод в печальной истории столь обильных нелепостями событий, последовавших за февральской революцией. Кого надобно винить за Национальные мастерские? Обстоятельства были так запутаны, ошибок было наделано столько всеми партиями, участвовавшими в управлении Францией после 24 февраля, что ни одна из партий этих не может похвалиться государственным благоразумием в деле Национальных мастерских, как увидим ниже. Но если ответственность за гибельную нелепость должна падать преимущественно на тех людей, которыми она была придумана, которые заведывали ее исполнением, которые не допускали других сделать ничего для ее отстранения, то ответственность за Национальные мастерские прямым образом падает на партию чистых республиканцев. Дело происходило таким образом.

Республика была провозглашена во Франции по настоянию республиканцев и работников. Республиканцы шли впереди, но их требования не имели бы никакой силы, если бы не были поддерживаемы работниками. Но работники увлекались вовсе не теоретическими рассуждениями о качествах республиканской формы политического устройства, — они хотели существенных изменений в своем материальном быте, и когда республиканцы, достигшие власти их силой, показали вид, что хотят ограничиться изменением политической формы, работники потребовали от них на другой же и на третий же день после победы принятия мер к улучшению материального положения низших классов. Способ, которым работники предполагали улучшить свой быт, — учреждение промышленных ассоциаций при вспоможении правительства, — казался республиканцам химерою; нелепою несообразностью с их понятиями о государстве казалось им и то право, которое во мнении работников служило основанием этому способу, именно «право на труд» (*droit au travail*), право каждого, не находящего себе работы у частных промышленников, получать эту работу от государства, которое таким образом обеспечивало бы средства для жизни каждому, желающему трудиться. Здравый смысл говорил, что если республиканцы не считали возможным удовлетворить этим требованиям, они должны были решительно отвергнуть их. Но отвергнуть их значило бы в ту же минуту лишиться власти, потому что сами по себе республиканцы были бессильны и держались только тем, что опирались на работников. Они решились выпутаться из затруднения обещаниями, рассчитывая выиграть время проволочками, надеясь, что настойчивость работников остынет мало-помалу, что дела как-нибудь уладятся счастливыми случайностями, что временное правительство впоследствии приобретет силу воспротивиться работникам. Первая уступка состояла в том, что на другой же день после переворота временное правительство издало декрет (25 февраля), которым объявляло, что государство обязывается обеспечивать существование работника доставлением ему работы в случае надобности, — «право на труд» было, таким образом, формально признано. Через два дня, точнее сообразив убеждения республиканцев, работники увидели, что не будет принято временным правительством никаких действительных мер к исполнению этого обещания, если исполнение его не будет предоставлено человеку, разделяющему в этом случае идеи работников, — и снова явились (27 февраля), требуя, чтобы для этого дела было учреждено особенное «министерство прогресса» и министром был назначен Луи Блан, глава той социальной школы, мнения которой господствовали тогда между парижскими работниками. Луи Блан был одним из одиннадцати членов временного правительства, но не имел в нем никакой силы, встречая безусловное сопротивление со стороны всех своих соотарищей, кроме одного Альбера, который сам принадлежал к

классу работников. Поручить Луи Блану министерство прогресса значило дать ему власть, значило облечь правительственной силой именно те идеи, которые девятерым из одиннадцати членов временного правительства казались гибельной химерой. Оно не могло согласиться на это, но не могло и совершенно отказать работникам, и вот оно придумало вместо министерства прогресса учреждение «Правительственной комиссии» для работников (*Commission du Gouvernement pour les travailleurs*), которая под председательством Луи Блана составляла бы проекты законов для предложения будущему Национальному собранию. Приняв это поручение, Луи Блан в свою очередь сделал очень важную ошибку. [Он видел, что] эта комиссия, не [имеющая] никакой власти, [учреждается] только для проволочки, с целью замять дело; [это учреждение обманывало] работников наружностью без всякого действительного значения. Нечего уже и говорить о том, что, не имея административной власти, комиссия не могла ничем облегчить состояние работников в настоящем; очевидно было, что и составлять проекты законов временное правительство поручало ей только в той уверенности, что они будут отвергнуты Национальным собранием, — да и сам Луи Блан знал это. Ясно было также, что во всяком случае комиссия вовсе не нужна для составления законов, — их гораздо легче и удобнее было бы обрабатывать без такой многосложной обстановки, какую должны были иметь заседания комиссии. Луи Блан видел, что комиссия придумана только для того, чтобы временному правительству вернуться от требования работников. Ему следовало отказать от этого обманчивого поручения. Он отказывался и говорил, что должен выйти из временного правительства, которое считает его участие во власти невозможным. Но если бы он не согласился остаться в правительстве, если бы не принял поручения, работники в тот же час поняли бы, что им нечего ждать от временного правительства, они восстали бы против него, произошли бы новые смуты, быть может, новое междоусобие. Это было представлено Луи Блану его товарищами, — и он согласился принять поручение, которое одно могло спасти правительство от разрыва с работниками. Эту уступку с его стороны можно приписывать слабости его характера, если думать, что он, подобно республиканцам, по убеждению не отвращался междоусобий. Но его образ мыслей был таков, что насилие ни в каком случае не может вести ни к чему хорошему, что все в мире лучше, нежели быть виновником смут, — и потому очень может быть, что он уклонился от разрыва не по недостатку характера, а напротив — по твердому убеждению в том, что лучше отказаться от успеха, нежели достигать его путем насилия. В самом деле, Луи Блану тогда нечего было бояться разрыва: в случае борьбы победа несомненно осталась бы на стороне работников, желавших отдать власть в его руки.

Но каковы бы ни были побуждения, заставившие Луи Блана сделать уступку, он уступил. Для комиссии, учрежденной под его председательством, был отведен Люксамбургский дворец, в котором две недели тому назад заседала палата пэров. Для участия в совещаниях о мерах, касающихся быта работников, были избраны работниками всех промыслов двести пятьдесят депутатов. Но составлять проекты законов, которые не имели вероятности пройти через Национальное собрание, было бесполезно, и комиссия скорее имела характер государственной аудитории, в которой Луи Блан излагал свою систему, нежели законодательного комитета. Главной целью речей Луи Блана было внушить собравшимся около него депутатам работников, что насильем они ничего не выиграют и должны надеяться только на мирные средства для улучшения своей участи; что путь убеждения и законных выборов — единственный верный путь для исполнения их желаний. Пока продолжались Люксамбургские конференции, они более нежели что-нибудь другое удерживали работников от насильственных действий. Но, с другой стороны, они составляли для работников самое торжественное свидетельство обещаний правительства позаботиться об их участи. Мало того, работники необходимо приходили через них к мысли, что законы и распоряжения, касающиеся положения рабочего класса, могут составляться не иначе, как по совещанию с этим классом, с его одобрения, при его участии. Легко понять, какое впечатление после таких идей должен был произвести на них тот факт, когда потом вдруг им объявили, что ни одна из их надежд не может быть исполнена, что они требуют нелепости, желая, чтобы правительство заботилось о рабочих хотя наполовину того, как заботится о фабрикантах, и что они должны беспрекословно повиноваться всему, что им приказывают, оставляя их между прочим без средств к жизни¹².

В то время как на Люксамбургских конференциях работники проникались высокими мыслями о приобретенном ими участии в решении вопросов, касающихся их быта, и беспрестанно вспоминали декреты временного правительства, обещавшего доставление работы от государства тем рабочим, которые останутся без работы у частных промышленников, уже оказались естественные следствия всякого государственного кризиса: торговые дела приостановились, произошло много банкротств, и оттого частные промышленники должны были сократить работу на своих фабриках, а некоторые даже вовсе закрыть их. Произойти это должно было неизбежно: всегда и везде за каждым государственным кризисом следует промышленный. И в Англии при гораздо меньших усилиях к преобразованиям гораздо меньшим бывает то же: и парламентская реформа, и отменение хлебных законов соединены были с промышленными кризисами. То же было во Франции и при начале реставрации, и после июльского переворота, и после декабрьского переворота. Но если при этих последних

кризисах французское правительство могло оставлять на волю судьбы работников, лишившихся работы вследствие промышленного кризиса, нельзя было этого сделать теперь: декрет, признававший право на труд, был еще у всех в руках; работникам еще принадлежало фактическое владычество в Париже, еще не имевшем гарнизона после февральских событий. Нельзя было не позаботиться о тех работниках, которые остались без хлеба. Временное правительство никак не хотело приступить в самом деле к обещанным преобразованиям экономического быта; а все-таки необходимо было сделать то, что должно было, по мнению самих работников, быть только уже результатом этих преобразований, — пришлось дать работу от правительства работникам, оставшимся без занятия на частных фабриках. Временное правительство сделало это так, как делается все делаемое против желания и убеждения, без знания и обдуманности, — сделало так, что вышла совершенно нелепая путаница. Оно поручило одному из своих членов, принадлежавшему к чисто республиканскому большинству и бывшему министром публичных работ, Мари, учредить «Национальные мастерские» для работников, оставшихся без занятия. Имя «Национальные мастерские» было заимствовано из системы Луи Блана, и потому люди, не знавшие о самом факте ничего, кроме его имени, утверждали потом, что «Национальные мастерские» произошли от него или его идей. Напротив, они были учреждены его непримиримыми противниками, управлялись людьми, нарочно избранными для того за личную вражду против него, устроены были совершенно наперекор его понятиям и при всей обременительности своей для государства, при всей гибельности для частной промышленности долго были приятны временному правительству, искавшему в них опоры против Луи Блана. Нелепее тех оснований, на которых они были созданы, невозможно ничего и придумать.

Надобно давать средства для жизни работникам (так рассчитывало временное правительство) не потому, чтобы это было хорошо, напротив — это очень дурно; но что ж делать, без этого произойдет восстание. Они говорят, что хотят работать; но если им дать занятие их обыкновенной работой, это будет подрывом частной промышленности. Потому нельзя ткачам давать ткать материи, столярам делать мебель: нужно дать им занятие, которое не входило бы в соперничество с частной промышленностью.

На этих соображениях были устроены «Национальные мастерские». Единственная работа, которая не подрывала бы частной промышленности, состояла, по мнению умеренных республиканцев, в том, чтобы копать землю, и всех этих людей — ювелиров, фортепьянщиков, слесарей, портных, ткачей, граверов, наборщиков и т. д. — обратили в землекопов.

Копать землю — это прекрасно; но где взять землю, которую нужно копать? В Париже производились различные земляные

работы, особенно по постройке дорог, мостов, укреплений. Еще больше земляных работ предполагалось совершить со временем. Казалось, почему бы не обратиться людей «Национальных мастерских» на эти действительно нужные работы, если уж они непременно должны копать землю? Администрация мастерских обратилась к инженерному ведомству, управлявшему всеми земляными работами в Париже, — тут произошла вещь невероятно милая: инженерное ведомство постоянно было во вражде с министерством публичных работ; бюрократическая ссора не постыдилась проявиться и тут, когда дело было так важно для государства: инженеры отвечали, что у них нет никаких работ для администрации Национальных мастерских. Что оставалось делать Мари? Вместо того чтобы призвать на помощь всю силу правительства для усмирения нелепой вражды инженеров, он начал придумывать сам от себя работы, — нужных работ не придумало его министерство никаких, и Национальные мастерские были заняты совершенно пустым пересыпанием земли с одного места на другое, потом опять с этого второго на первое, так, единственно для препровождения времени. Это опять невероятно, но действительно было так. Рабочие Национальных мастерских сначала вырыли рвы и насыпали террасы на Марсовом поле, потом срыли опять террасы и засыпали рвы, потом снова принялись рыть те же рвы и насыпать террасы и т. д.; подобными же упражнениями занимались они и на всех других местностях Парижа, где только было можно потешаться лопатами и заступами.

За это совершеннейшее осуществление нашей поговорки о пересыпании из пустого в порожнее следовало им получать плату от правительства. Таким образом умеренные республиканцы удивительно разрешили задачу: содержать рабочих и заставлять их трудиться, но так, чтобы их труд не был соперничеством частной промышленности.

И сами рабочие, и администраторы Национальных мастерских очень хорошо чувствовали, что их занятия — нелепая пародия труда. Не глупо ли токарю или каретнику копать землю? Заставлять его делать это — значит просто заставлять его бездельничать. Да и вообще заставлять человека делать дело, совершенно ни для чего не нужное, только затем, чтобы потом он мог заняться разделыванием сделанного, — опять-таки нелепость, которой должен совеститься и работник, и надзиратель. Потому очень скоро надзиратели бросили требовать от рабочих труда; рабочим стала омерзительна пошлая возня с лопатами. По общему согласию тех и других установилось, что весь процесс «рабочего дня» состоит лишь в том, чтобы явиться на место работы, как-нибудь провести на этом месте назначенные часы и отправиться назад по окончании их, получив квитанцию за свое присутствие в назначенном месте. Оно действительно так и следовало по самой мысли учредителей.

Не одни люди рабочего класса, но и люди всякого звания предпочитают пользоваться деньгами задаром, если открывается возможность получить задаром столько же денег, сколько и за тяжелый труд. Когда в Национальных мастерских стало нужно только прогуляться от сборного места до какой-нибудь площади поутру и вечером прогуляться с этой площади назад до сборного места, чтобы выдана была квитанция за так называемый «рабочий день», а потом за эту квитанцию выдана была плата не менее той, какая давалась на фабриках, когда таким образом открыты были синекуры для работников, само собою разумеется, что работники стали покидать частные фабрики для Национальных мастерских. И без того вследствие нерешительных, двусмысленных действий временного правительства Париж волновался страхами всевозможных родов, кредит падал, фабрик закрывалось все больше и больше; а тут, привлекаемые даровым жалованьем в Национальных мастерских, многие работники уходили и с таких фабрик, которые могли бы выдержать промышленный кризис. И вот по обыкновению одно бедствие порождало другое и само потом увеличилось от его влияния. Политический кризис привел к промышленному; промышленный кризис окончательно сбил с толку временное правительство, и без того не слишком мудрое; потерявшие голову правители в торопливом смущении основали широкое дело Национальных мастерских для облегчения зла, но основали в таком нелепом виде, что от них зло могло лишь увеличиваться; вследствие превратных мер правительства кризис возрастал, и число людей в Национальных мастерских увеличивалось с страшной быстротой: одни шли туда потому, что не имели работы на фабриках, другие своим уходом принуждали закрывать фабрики и тем увлекали в Национальные мастерские новые толпы людей, лишавшихся работы. В начале марта Национальные мастерские имели 20 000 работников, действительно не находивших занятия на частных фабриках; в середине июня Национальные мастерские считали уже более 150 000 работников, из которых несколько десятков тысяч сами бросили фабрики и тем лишили работы, может быть, сотню тысяч людей, вовсе не желавших быть тунеядцами, но не видевших себе другого спасения, кроме Национальных мастерских.

Расход государства на их содержание был громаден: каждый месяц Национальные мастерские поглощали несколько миллионов, а работы совершалось ими очень мало, да и та же приносила пользы ни на грош, потому что тратилась на предметы вовсе не нужные. Мало того, что расходы эти составляли в настоящем страшную тягость для казны: в будущем они угрожали еще большей разорительностью, потому что число людей в Национальных мастерских умножалось с каждым днем. Все партии с одинаковым беспокойством смотрели на эту колоссальную нелепость.

Все партии, сказали мы, — это выражение не совсем точно: представители партии умеренных республиканцев во временном правительстве, наравне со всеми жалея о страшной растрате денег на Национальные мастерские, находили в этом своем тупоумном порождении одну сторону, которая утешала их за все расходы. Национальные мастерские находились в заведывании министерства публичных работ, а министерством этим управляли вернейшие люди умеренно-республиканской партии, сначала Мари, потом Трела. Администраторы мастерских все принадлежали к той же партии: Мари, который назначил этих агентов, был очень осмотрителен в их выборе. Особенно могла умеренно-республиканская партия положиться на главного администратора мастерских, — то был Эмиль Тома, честнейший умеренный республиканец, по убеждению смертельный враг всех крайних партий, особенно социалистов, сверх того личный враг Луи Блана, который был тогда сильнейшим из предводителей социалистов. Благородный и чрезвычайно гуманный Эмиль Тома пользовался безграничной любовью людей, находившихся под его управлением; он был очень обходителен с работниками своими, заботливо вникал в их нужды, старался во всем помочь им, насколько от него зависело, занимался своими трудными обязанностями с ревностью, доходившей до самоотвержения; его кроткий характер, его ласковая речь, его обязательность привлекали к нему толпы, находившиеся под его начальством. Умеренные республиканцы могли наверное рассчитывать, что его работники пойдут за ним, куда бы он ни повел их.

Это служило им источником великой отрады. В Национальных мастерских умеренные республиканцы видели сильнейшую свою опору против социалистов. В самом деле, работники-депутаты Люксамбургских конференций, имевшие громадное влияние на всех других людей своего класса в Париже, были отвергаемы, осмеиваемы, преследуемы работниками Национальных мастерских; многие из этих депутатов были принуждены удалиться из мастерских. Словом, между Люксамбургом и Национальными мастерскими не было и не могло быть ничего общего. Восстание социалистов грезилось умеренным республиканцам каждую ночь, каждый день, но они с некоторой самоуверенностью твердили себе: у нас есть против такого восстания громадная армия.

В самом деле, Национальные мастерские с тем и были устроены, чтобы служить армией против социалистов. Сообразно такому назначению эти мастерские были организованы по военной системе: каждыми десятью работниками начальствовал десятник (*riqueur*); пять десятков составляли взвод (*brigade*) с капралом (*brigadier*); несколько бригад соединялось под начальством поручика (*lieutenant*) и т. д.; у бригад и отрядов, из них составлявшихся, были свои знамена; к сборному месту шли работники из своих жилищ военным строем, с знаменами; еще церемо-

ниальнее были их марши от сборного места до места (так называемых) работ и обратно; от сборного места по домам они также расходились военным порядком. Само собой разумеется, эти марши, знамена, это мелочное распределение по чиновничеству и проч. было бы совершенно неуместно, если бы Национальные мастерские устраивались только для прокормления людей, не находящих себе работы; но они назначались также [в случае смут] доставлять защитников умеренным республиканцам, и этому назначению совершенно соответствовала их военная организация.

Но в середине июня умеренные республиканцы чувствовали себя уже столь сильными, что могли обойтись без помощи этих союзников. Робость, овладевшая средним и высшим классами после февральских событий, мало-помалу рассеивалась, когда они увидели, что низший класс в массе ожидает улучшения своей участи от закона, не прибегает к насилию; что предводители этого класса, крайние республиканцы и социалисты, не захватывают силою диктатуру в свои руки, а ожидают достичь торжества путем порядка и законности. Этому спокойствию предводителей крайних партий было много причин: уважение к национальной воле, выражение которой они видели в установленном тогда *suffrage universel**; надежда, что результат этого всеобщего права участвовать в выборах будет благоприятен людям, которые считали себя защитниками интересов массы; неуверенность в том, что городские пролетарии будут поддержаны поселянами, Париж будет поддержан провинциями, если фабричные работники в Париже вздумают восстать против буржуазии; несогласия между различными школами и главными людьми этих школ. Мы не можем решить, какое из этих соображений и затруднений имело более силы; противники говорят, что эти люди удерживались опасением восстановить против себя всю Францию присвоением власти; сами они говорят, что только добросовестное отвращение от насилий руководило их действиями; как бы то ни было, но они не прибегли к насильственным мерам, которых ожидали от них противники, — мало того, они все свои усилия напрягали к удержанию массы от всякого насилия. За это противники сочли их людьми, не умеющими извлекать выгоду из обстоятельств, людьми, неспособными к практической деятельности; действительно, они без всяких попыток присвоить себе власть дали пройти тем дням или неделям, когда могли быть страшны своим противникам, и противники ободрились. Некоторые слабые движения, возбужденные интриганами вроде Бланки, увлекшими вслед за собой опрометчивых [энтузиастов] вроде Барбе и Гюбера, послужили, однако же, поводом выставить честолюбцами, опасными для общественного спокойствия, и тех, которые на самом деле старались предотвратить эти волнения. Неко-

* Всеобщее голосование. — *Ред.*

торые ошибочные меры, принятые временным правительством против их совета, были приписаны их теориям или желаниям. Таким образом предводители крайних партий были осуждаемы и за волнение 15 мая, когда клубы вторгнулись в Национальное собрание и хотели разогнать его, и за возвышение поземельного налога, декретированное умеренными республиканцами, и за учреждение Национальных мастерских, происшедшее также вопреки их мнениям и вне всякого их участия.

Такие обвинения противоречили фактам, но факты тогда еще не были известны в истинном своем виде, — напротив, они доходили до всеобщего сведения искаженными или преувеличенными. Эти ложные слухи много содействовали упадку меньшинства временного правительства и укреплению власти большинства, состоявшего из умеренных республиканцев. Но всего более, конечно, произошло это просто вследствие естественного закона, по которому за напряжением сил следует усталость, по которому стремительный порыв масс быстро сменяется обычной для них дремотой, по которому люди неопытные беспечно успокаиваются после первого обманчивого успеха. Масса, на сочувствии которой основывалась сила крайних партий, уже воображала себя совершенной победительницей, она воображала, что противники, низвергнутые в феврале, уже бессильны; что умеренные республиканцы, союзники массы в феврале, будут исполнять ее желания, потому что сделали на словах несколько уступок этим желаниям.

Под влиянием всех этих обстоятельств умеренные республиканцы решительно восторжествовали на выборах в Национальное собрание; крайние партии, и прежде имевшие мало влияния на управление делами, совершенно лишились его, когда с открытием Национального собрания временное правительство отключило с себя власть и она была передана Исполнительной комиссии, в которой уже исключительно господствовали умеренные республиканцы.

Теперь эта партия, до сих пор стеснявшаяся в своих действиях противоречием меньшинства временного правительства, могла беспрепятственно принимать меры, казавшиеся ей нужными. Первой из этих мер было призвание сильных отрядов войска в Париж и его окрестности. Крайние партии опирались на парижских работников, — умеренные республиканцы старались, как мы видели, подчинить этот класс своему влиянию; но все-таки он имел других предводителей, его желания были в сущности несогласны с желаниями умеренных республиканцев, его требования казались им гибельными для общества химерами; работники внушали сильное опасение умеренным республиканцам. Для обуздания этих многочисленных недовольных необходимо было войско.

Когда сильное войско было сосредоточено в Париже и его

окрестностях, умеренные республиканцы гораздо прямее, нежели прежде, начали говорить, что преобразования, которых желают работники, нелепы, и правительство не может исполнить их. Разочарование овладело умами и тех из работников, которые до сих пор сохраняли надежду на то, что Национальное собрание поставит законы, изменяющие материальное положение рабочего класса. Предводители крайних партий попрежнему убеждали массу не прибегать к насилиям, ожидать исполнения своих желаний от употребления средств, которые давались к тому законным правом участвовать в выборах. Судя по всему, эти увещания и собственное благоразумие удержали бы низший класс от смут, если бы правительство не приступило к уничтожению Национальных мастерских способом столь же неблагоприятным, как неблагоприятен был способ их учреждения.

Правительство теперь твердо опиралось на армию. Ему уже можно было обойтись без союза с защитниками ненадежными, — надобность, для которой до сих пор содержались Национальные мастерские, прекратилась. Решено было закрыть их. Работники их будут недовольны? Это не важность: при многочисленной армии они не посмеют противиться.

И вот для закрытия Национальных мастерских приняты были быстрые меры — меры, в которых самонадеянное легкомыслие странным образом смешивалось с трусливою торопливостью, грубая жестокость — с изворотливым коварством.

Самый недалекновидный человек мог бы, повидимому, понять, что опасно вдруг отнимать содержание у массы в 150 000 человек, организованной подобно войску, не предоставив этим людям никаких других средств к существованию; но умеренные республиканцы успокаивались надеждой на силу собранной ими армии и без всяких церемоний вдруг объявили, что Национальные мастерские уничтожаются, потому что государство не может содержать на свой счет огромную толпу тунеядцев.

Прекрасно; но в каком положении видели теперь себя эти 150 000 людей, которых до сих пор кормило правительство? Фабрики были закрыты; промышленный кризис продолжался, и не было даже надежды, что он скоро прекратится. Благоразумие требовало бы от правительства, чтобы оно помогло фабрикам возобновить работу и отпускало людей из Национальных мастерских только по мере того, как они могли бы находить себе занятие в частной промышленности. Это не было сделано. Занятий не могли они найти себе никаких. Они оставались без всяких средств к существованию. Они могли только умирать с голоду на улицах Парижа.

Неужели этого не предвидело правительство? Нет, предвидело и потому приняло следующие меры: молодым и здоровым людям предложило оно поступать в солдаты, а тех, которые неспособны сделаться хорошими солдатами, оно приказало развозить из Парижа по провинциальным городам.

Легко было предугадать, какой вид получат в глазах работников эти меры, которые начали приводиться в исполнение без излишнего внимания к желанию или нежеланию воспользоваться ими со стороны работников. «Нас насильно, противозаконно берут в солдаты, нас насильно развозят по разным городам, в которых так же закрыты фабрики, в которых так же нет нам работы, в которых так же останется нам только умирать с голоду, как и в Париже», — иначе не могли думать несчастные. «Нас развозят затем, что в соединении мы сильны; разделив нас, они легче управятся с нами, как хотят».

Ясно было, что Эмиль Тома при своем гуманном характере, при своей заботливости об участи людей, которыми управлял, не согласится быть исполнителем таких мер. Он говорил, что нельзя так круто повернуть этого дела, что надобно приготовить занятия распускаемым работникам, сокращать Национальные мастерские только по мере пробуждения деятельности на частных фабриках и т. п. И вот придумали новую меру, чтобы избавиться от него. Его призвали к министру публичных работ (министром был тогда Трела; Мари, прежний министр, был членом Исполнительной комиссии, руководившей действиями министров), — министр сказал ему, что для закрытия Национальных мастерских нужен администратор с характером более твердым, что если работники узнают об его отрешении, они могут воспротивиться, собраться вокруг прежнего любимого начальника, наделать беспорядков. «Потому немедленно отправляйтесь из Парижа, так чтобы этого никто не знал, оставайтесь в провинции, куда я посылаю вас, пока здесь все будет кончено. Тогда я возвращу вас в Париж». Эмиль Тома доказывал, что его внезапное удаление встревожит работников, усилит их подозрения, — напрасно. Он сказал, что по совести не может повиноваться, зная, что его удаление из Парижа будет иметь гибельные следствия. Тогда министр объявил, что принужден выслать его из Парижа насильно, — призвал чиновников, которым поручил взять его под стражу и немедленно уехать с ним из Парижа. Это было исполнено в ту же минуту, и для лучшего сохранения тайны даже семейству Эмиля Тома не было сказано, куда он исчез.

Следствие было совершенно таково, как предсказывал он.

Любимый начальник, которому верили, внезапно исчез — он пошел к министру и не возвращался более. «Он брошен в тюрьму», — говорили одни работники. «Он убит министром», — говорили другие. «Это потому, что он не хотел выдать нас; что же хотят сделать с нами? Как что, разве это не видно? Нас пошлют в Алжирию, где мы погибнем от климата и от кабиллов; кого не пошлют в Алжирию, кого не берут в солдаты, тех насильно отвозят бог знает куда, развозят по провинциям, чтобы легче было поодиночке зажать нам рот, подавить нас; нас бросят без всяких средств к жизни, мы не найдем работы ни здесь, ни

в провинциях — работ нет нигде. Мы обречены погибнуть от голода. Погибнуть от голода! А давно ли даны нам обещания, что каждый, не находящий работы в частной промышленности, получит работу от правительства? Исполняя этот декрет, правительство содержало нас, пока не имело войск, — теперь оно имеет войска и хочет поступить с нами так же, как поступал Гизо. Предатели, они хотят, чтобы мы погибали».

В самом деле, если ни Гизо в феврале, ни Исполнительная комиссия и Национальное собрание в июне не хотели губить работников для собственного удовольствия, то надобно было умеренным республиканцам признаться, что их управление сделало для исполнения требований рабочего класса ровно столько же, сколько и Гизо. Но Гизо по крайней мере не давал обещаний, а теперь дано было формальное обещание декретом временного правительства, еще за несколько недель торжественно подтверждено решением Национального собрания, — надежды были пробуждены, официально признаны справедливыми, — и вдруг правительство совершенно отрекается от всяких обязательств, столько раз данных. [Республиканцы все равно, как и Гизо, говорят: молчите, или мы заставим вас молчать штыками и картечью.]

Сто пятьдесят тысяч человек остаются без всяких средств к существованию, начальник, которого они любили, коварно отнят у них, их насильно берут и увозят из Парижа, им изменили. А между тем они организованы подобно армии, неужели они отдадутся на жертву без сопротивления?

Ошибки правительства привели к неизбежной междоусобной войне.

В тот же день, как было объявлено решение Национального собрания закрыть Национальные мастерские, как исчез Эмиль Тома и начались наборы работников для поступления в солдаты и для рассеяния по провинциям (22 июня), работники послали депутатов протестовать против этих распоряжений. Член Исполнительной комиссии, бывший министр публичных работ, Мари, принял депутатов очень дурно и сказал, что работникам остается только одно — безусловно повиноваться.

На следующее утро (23 июня) вспыхнуло восстание. Целый день оно усиливалось, и вечером Национальное собрание передало исполнительную власть Кавеньяку, который, как военный министр, с самого начала руководил действиями армии. [Париж был объявлен в осадном положении.]

Мы не будем рассказывать подробностей отчаянной борьбы, продолжавшейся три дня; нас, вероятно и читателя также, интересует не стратегическая сторона этого страшного междоусобия, а причины, его вызвавшие, характер его и следствия, к которым оно привело французскую нацию.

Причины мы исчислили; некоторым читателям, быть может,

покажется, что наше объяснение неполно, что мы опустили из виду влияние клубов, интриги так называемых демагогов, честолюбие предводителей крайних партий; действительно, всему этому приписывал очень большое участие в июньских событиях отчет, составленный докладчиком следственной комиссии, назначенной по этому делу, Кентеном Бошаром; но этот доклад, внушенный чувством ненависти, давно отвергнут общественным мнением и тогда же отвергался людьми беспристрастными и проницательными. Мы укажем один случай и приведем одно свидетельство, чтобы читатель мог судить о том, как смотрели еще тогда основательные и справедливые судьи на содержание этого доклада.

Следственная комиссия, составленная наполовину из умеренных республиканцев, наполовину из орлеанистов и легитимистов, которые ободрились после июньских дней, главным виновником смут, обуревавших Францию со времени провозглашения республики до июньских дней, выставила Луи Блана, на которого сваливали также учреждение Национальных мастерских, устроенных будто бы по его плану. Но Луи Блан и Коссидьер, обвиняемый вместе с ним (хотя они были враги между собою), в то время были представителями нации (членами Национального собрания), а представители могли быть подвергаемы судебному преследованию не иначе, как только с разрешения Собрания. Правительство потребовало этого разрешения, — Собранию был предложен вопрос: находит ли оно достаточные поводы подозревать участие Луи Блана в майских и июньских событиях и находит ли нужным предать его суду. Огромное большинство отвечало: «да». Но в числе меньшинства, находившего обвинение неосновательным и улики фальшивыми, был между прочим и Бастиа, известный экономист, который всеми силами боролся против учений, имевших тогда своим представителем Луи Блана. Партия, к которой принадлежал Бастиа, была скандализирована тем, что он подал голос в оправдание Луи Блана, но вот что он писал в тот же вечер к ближайшему из своих друзей, Кудре:

«Ныне на рассвете решено великое дело о докладе следственной комиссии, так тяжело беспокоившее и Собрание и Францию. Собрание дало согласие на судебное преследование Луи Блана и Коссидьера за участие в преступлении 15 мая. У нас, быть может, удивятся, что в этом деле я подал голос против правительства. Я хотел было постоянно отдавать моим избирателям отчет в соображениях, по которым подаю так или иначе голос по каждому делу; только недосуг и нездоровье помешали мне исполнить это; но настоящий случай так важен, что я должен объяснить причины моего мнения. Правительство считало отдачу под суд этих двух представителей необходимою; говорили даже, что только этим оно может удержать на своей стороне национальную гвардию, но мне казалось, что даже и это соображение не даст мне права заглушить в себе голоса совести. Ты знаешь, что учение Луи Блана не имело, быть может, в целой Франции противника более решительного, нежели я. Я убежден, что эти системы имели губительное влияние на образ мыслей и через то на поступки работников. Но разве мы должны

были решать вопрос о справедливости его системы? Каждый человек, имеющий какое-нибудь убеждение, по необходимости считает гибельным противное убеждение. Когда католики жгли протестантов, они жгли их потому, что считали их образ мыслей не только ошибочным, но и опасным. По этому принципу нам всем пришлось бы перерезать друг друга.

Итак, надобно было посмотреть на то, действительно ли Луи Блан виноват в фактах заговора и восстания? Мне казался он невиновным, и никто, прочитав его защитительную речь, не может не сказать, что он невиновен. А между тем я не могу не помнить, в каких мы теперь обстоятельствах: у нас осадное положение, правильная судебная власть отстранена, свобода отнята у журналов. Мог ли я выдать двух представителей их политическим противникам в такое время, когда нет никаких гарантий? Это — дело, которому я не могу содействовать, это — первый шаг по пути, на который я не могу вступить.

Я не осуждаю Кавеньяка за то, что он на время отменил действие всех законных гарантий, я думаю, что эта печальная необходимость столь же прискорбна ему, как и нам; притом она может быть оправдана тем, чем оправдывается все, — спасением общества. Но для спасения общества требовалось ли, чтобы двое из наших товарищей были преданы на жертву? Я не думаю. Напротив, мне кажется, что такое дело может только послить между нами раздор, ожесточить ненависть, положить бездну между партиями не только в Собрании, но и в целой Франции; мне казалось, что при настоящем положении внешних и внутренних дел, когда нация страдает, когда ей нужны порядок, доверие, прочные учреждения, единодушие, — при таких обстоятельствах не время ввергать в раздор представителей нации. Мне кажется, что лучше бы нам забыть о наших жалобах и неприятностях, чтобы позаботиться о благе страны; потому я радовался, что нет ясных фактов в обвинение моих товарищей и что я не обязан выдавать их.

Большинство думало иначе. Дай бог, чтобы оно не ошиблось! Дай бог, чтобы решение, принятое ныне, не сделалось гибельным для республики!

Если ты найдешь нужным, я уполномочиваю тебя послать отрывок из этого письма в газеты».

Через несколько дней, возвращаясь к тому же предмету в другом письме к Кудре, Бастиа продолжает:

«Говорят, что я уступил страху; страх был с другой стороны. Или эти господа (избиратели департамента, представителем которого был Бастиа) думают, что для борьбы против страстей, овладевающих обществом, нужно в Париже менее мужества, нежели в департаментах? Нам грозили гневом национальной гвардии, если мы отвергнем требование судебного преследования. Эта угроза выходила от людей, располагающих военной силой. Стало быть, страх мог заставлять класть черные шары, но не белые шары. Нужна высокая степень нелепости и тупости, чтобы вообразить, будто требуется особенное мужество для подачи голоса в пользу той стороны, на которой стоит насилие, армия, национальная гвардия, большинство Национального собрания, влечение обстоятельств, правительство.

Читал ли ты следственный акт? Читал ли ты показание бывшего министра Трела? В показании говорится: «Я был в Клиши, я там не видел Луи Блана, не слышал, чтобы он был там; но в жестях, в физиономии, в самых звуках голоса работников я видел следы того, что он был там». Высказывалась ли когда-нибудь политическая ненависть с более опасными тенденциями? Три четверти следственного акта составлены в таком духе!

Словом, сказать по совести... я не думаю, чтобы Луи Блан принимал участие в майском и июньском возмущениях, и этим объясняется, почему я подал голос против обвинения».

Свидетельство Бастиа в этом случае не может подлежать подозрению; он был самый резкий, самый отважный и самый

сильный противник тех людей, которых теперь хотел защитить от обвинений.

В самом деле, невозможно читать обвинительный акт, не видя, что он составлен под влиянием страха и ненависти. Эти чувства и прежде руководили действиями чистых республиканцев относительно партий, разделявших с ними власть от февраля до июня; под влиянием этих чувств учредились и потом были закрыты Национальные мастерские, закрытие которых было ближайшим поводом междоусобия. Влиянием этих чувств было и вообще создано то положение государственных дел во Франции, неизбежным результатом которого было междоусобие. Другие причины, о которых они так много говорили, или вовсе не существовали, или оказывали только ничтожное влияние. Предводители партий, благоприятствовавших требованиям рабочего класса, старались всеми средствами удержать работников в пределах законности, старались отворотить их от всяких попыток к действию вооруженной силой; многие клубы действовали в противном смысле, но влияние их на массу было незначительно; наконец, ничего подобного заговору не было в междоусобии июньских дней: получив отказ 22 июня ввечеру, работники условились открыто, на площади, что завтра возьмутся за оружие.

Именно отсутствием влияний, чаще всего пробуждавших беспокорства во Франции, июньское междоусобие отличается от других парижских междоусобий; в этом отсутствии обыкновенных элементов мятежей и заключается тайна громадной силы, обнаруженной инсургентами июньских дней, и ужаса, произведенного этой резней. Массы шли на битву без всяких предводителей; ни одного сколько-нибудь известного человека не было между инсургентами. Чего хотели они? Это до сих пор остается смутно для того, кто не считает достаточным объяснением их мятежа перспективу голодной смерти, открывшуюся перед ними. То не были ни коммунисты, ни социалисты, ни красные республиканцы, — эти партии не участвовали в битвах июньских дней; чего хотели они? Улучшения своей участи; но какими средствами могло быть улучшено положение рабочего класса, если бы он одержал верх? Это было темно для самих инсургентов, и тем страшнее казались их желания противникам; чего же они хотели, если не были даже коммунистами? [Победители говорили, что они хотели грабить, но они наличными деньгами расплачивались за все, что брали в лавках. Это открылось после; но в те дни инсургенты казались какими-то варварами, цель которых — разрушение общества.] Отчаяние — вот единственное объяснение июньских дней, оно составляет отличительный характер этого восстания. Инсургенты сражались не для ниспровержения или установления какой-нибудь политической формы, — они не имели ни определенного политического образа мыслей, ни определенных требований от правительства или общества, кроме одного

Требования: они хотели иметь работу и кусок хлеба, доставляемый работой, и думали, что противники хотят истребить их, чтобы не давать ни хлеба, ни работы, столько раз торжественно обещанной. Оттого-то и дрались они с таким отчаянным мужеством. Их было тысяч сорок; далеко не все работники Парижа, далеко не все работники Национальных мастерских взялись за оружие: надежды на успех почти не было, инсургенты шли на погибель почти несомненную, и потому к ним не присоединялся никто из работников, сохранивших или хладнокровие в своей горести, или вероятность иметь работу на фабриках. Зато отважившиеся на битву почти безнадежную дрались с энергией, какой не было ни в июле 1830 года, ни в феврале 1848 года. Против них выведены были регулярные войска, гораздо многочисленнейшие, выступала национальная гвардия Парижа, еще более многочисленная, выведена была «подвижная гвардия», *garde mobile*, составленная из отчаянных юношей парижской бездомной жизни, выдвинута была страшная артиллерия тяжелого калибра, — всего было мало, постоянно прибывали по железным дорогам новые войска и новые отряды национальной гвардии из всех городов Франции, и только на четвертый день это громадное превосходство в силах подавило мятеж, — да и этой медленной победой противники инсургентов были обязаны только новой системе борьбы, которую Кавеньяк применил к делу с редким искусством и еще более редкой непоколебимостью.

Система эта состояла в том, чтобы сосредоточивать огромные силы на одном пункте, избранном для наступательного движения, держась на всех остальных пунктах только в оборонительном положении. Наступление имело первой целью разорвать сообщение между различными частями города, бывшими в руках инсургентов; потом, когда эти отрезанные одна от другой части не могли уже подавать помощи друг другу, брать постепенно одну часть за другой. Знаатоки военного дела говорят, что этот план был превосходно и задуман и исполнен Кавеньяком и что при всякой другой системе борьбы инсургенты на некоторое время, по всей вероятности, овладели бы всем Парижем. Но и этой системе, доставившей победу, инсургенты долго противились с таким успехом, что 25 июня Кавеньяк еще не руцался за победу и считал опасность столь великой, что вместе с президентом Национального собрания принял меры перенести Собрание и резиденцию правительства в Сен-Клу или в Версаль, если бы инсургенты восторжествовали в Париже. Картечь, бомбы и ядра трое суток осыпали кварталы, занятые инсургентами, — и только это страшное действие артиллерии доставляло перевес регулярному войску. Рукопашные битвы были чрезвычайно упорны. Число убитых с той и с другой стороны остается неизвестным; правительство должно было уменьшить потерю своих защитников и врагов, но и оно показывало ее в пять тысяч; другие известия

говорят о десяти и более тысячах, и, быть может, даже эта цифра не достигает еще ужасной действительной потери. Ветераны наполеоновских времен говорили, что никакой штурм неприятельской крепости во времена Первой империи не был так кровопролитен. Есть положительный факт, слишком достоверно свидетельствующий о верности этого впечатления: из четырнадцати генералов, командовавших войсками, шестеро были убиты, пять других были ранены, и только трое уцелели, — да и из этих последних под Ламорисьером были убиты две лошади.

[Много злодейств было совершено с обеих сторон в ожесточении битвы, потому что с обеих сторон за сражающимися укрывалось много преступников, пользовавшихся бешенством сражения для насыщения своего зверства. Так, несколькими негодьями со стороны инсургентов был убит генерал Бреа, захваченный в плен, но с противной стороны число страшных примеров жестокости было еще значительнее. Рассвирепевшие солдаты и особенно подвижная гвардия, ворвавшись в дом, занятый инсургентами, часто убивала всех, кого там находила, — стариков, женщин, детей; множество совершенно невинных людей, имевших несчастье попасться в руки армии и подвижной гвардии, были расстреляны по подозрению, что они расположены в пользу инсургентов, — и потом оказалось, что они вовсе не имели и мысли об этом; расстреливание пленных инсургентов было в таком обычае, что об этих случаях никто уже и не говорит; словом, читая рассказы об ужасах, совершенных национальной гвардией, подвижной гвардией и солдатами, видишь, что недаром было потом в употреблении у парижан выражение «Кавеньяковские палачи», *les bourreaux de Cavaignac*.]

Как полководец, Кавеньяк в эти страшные дни действовал превосходно. Все знатоки военного дела утверждают это. Кроме стратегических талантов, он выказал качество еще более редкое — непреклонную энергию воли, когда, несмотря ни на какие просьбы, внушаемые нетерпением, твердо следовал своему плану, который один мог вести к победе, и, действуя шаг за шагом, не сделал ни одного опрометчивого движения. Как частный человек, он также вел себя безукоризненно: напрасно враги его обвиняли, что он употребил какие-нибудь интриги для достижения диктатуры: это низкая клевета; он верно служил Исполнительной комиссии, пока она существовала, и когда она была уничтожена Национальным собранием и вся власть передана ему, то было благоразумным решением самого Собрания, и ни сам Кавеньяк, ни его друзья не сделали ни одного шага, чтобы внушить это решение. По окончании битвы он явился в Собрание, возвращая ему власть, которой был облечен на время битвы, и опять совершенно ничего не искал; когда Собрание просило его сохранить власть и сделаться главой правительства, он, приняв это высокое поручение, нимало не утратил простоты своих нравов, продолжал

быть совершенно прежним человеком и постоянно не только говорил, но и действовал совершенно сообразно сущности своих обязанностей, всегда признавая себя только доверенным лицом Собрания, вручившего ему власть, и ни разу не сделав ни одного шага для того, чтобы расширить пределы этой власти или отказать в повиновении Собранию, которое совершенно вверилось его честности. Словом, как частный человек, он выказал характер, достойный Вашингтона. Но как государственный человек, Кавеньяк, к сожалению, не обнаружил ни особенной проницательности, ни особенных дарований: подобно всей своей партии, он поступил вовсе не предусмотрительно и не расчетливо. Великим несчастьем для него и всей партии было уже то, что ее ошибками дела были доведены до июньского междоусобия; но в этом не был виноват Кавеньяк, он не управлял государством, не имел значительного влияния на ход событий до июня, — он ограничивался до той поры почти только своими специальными занятиями по должности военного министра и управлял этой частью хорошо. Потому теперь, когда управление перешло в руки его, человека, непричастного прежним ошибкам, правительством умеренных республиканцев могло бы явиться перед нацией как бы отказавшимся, очищенным от прежних гибельных промахов и восстановить свою популярность. Для этого битву следовало бы вести со всевозможной готовностью к примирению, и тогда генерал, принявший власть среди громов междоусобия, представился бы не столько победителем одного класса своих сограждан во имя других классов, сколько миротворцем. Но Кавеньяк явился не более как только хорошим генералом, смотрящим на гражданские дела глазами своих политических друзей; а политические друзья его, к сожалению, во всем считая себя правыми относительно прошедшего, не находили в самых действиях своего прежнего управления объяснений восстания и потому считали это восстание возникшим единственно вследствие желаний, гибельных для общества; они слишком поверили своей фразе, которую любили повторять в апреле и мае: «варвары у ворот наших» — *les barbares sont à nos portes*; они увидели в жалких, голодных рабочих не несчастных, доведенных до безрассудной дерзости отчаянием, а злодеев, принявших за оружие чисто с намерением грабить и резать. Сообразно такому понятию и повели они борьбу против них, — не как против сограждан, а будто против каких-нибудь каннибалов, беспощадно, безжалостно. [Ожесточение со стороны национальной гвардии, составлявшей опору умеренных республиканцев, и зверские поступки со стороны шестнадцатилетних-восемнадцатилетних воинов подвижной гвардии, увлеченных опрометчивостью кипучей молодости и вином, вызвали много примеров такой же жестокости со стороны инсургентов — умеренные республиканцы с каким-то самодовольством ослепились этими отдельными случаями, оправдавшими их мнение, и допустили

себя совершенно забыть о причинах восстания, лежавших в их собственных действиях.

Битва шла зверски с обеих сторон. Она необходимо должна была оставить много ненавистных следов в памяти обеих сражавшихся сторон. Но пусть инсургенты были варвары, пусть имели право умеренные республиканцы не давать им пощады в битве, превратившейся оттого в резню с расстреливанием пленных, — пусть им извинительно было все это в предположении их, что инсургенты взялись за оружие не для защиты себя от голодной смерти, а для прабежа их, умеренных республиканцев; но вот победа стала решительно склоняться на сторону войска и национальной гвардии]. Наконец инсургенты потеряли всякую надежду на успех. Это было на третий день восстания, на другой день ожесточенной битвы 25 июня. В этот момент возникали для умеренных республиканцев новые соображения, которыми должен был бы измениться характер следующего дня, если бы умеренные республиканцы были предусмотрительны.

Надежды противников уничтожены. Пусть прежде инсургенты заслуживали истребления как хищные звери; но следует ли теперь доканчивать их истребление, когда они убедились в неизбежности своего поражения? Продолжение борьбы, уже ненужной для отвращения от себя опасности, — опасность уже отвращена, — не введет ли умеренных республиканцев в новую опасность?

С точки зрения собственных убеждений они должны были принять в соображение следующие факты. Они, умеренные республиканцы, хотели утвердить во Франции республиканскую форму правления. Какой класс нации был единственным преданным защитником этой формы? Только класс работников; кроме работников, искренними республиканцами были только немногие отдельные люди, по своей малочисленности не могшие удержаться против высших классов и поселян, желавших низвержения республики. Прежде, положим, работники увлекались гибельными химерами, — теперь исчезли их надежды на осуществление этих других желаний; из всех их чувств остается имеющим практическую силу только преданность республиканской форме. Причины, ожесточившие умеренных республиканцев против них, уже не существуют, существует только одно общее обеим сторонам стремление поддержать республику. Ясно было, что [вчерашние враги должны были теперь искать сближения между собою; ясно, что] умеренные республиканцы должны были постараться прекратить борьбу с ними. И каков будет результат, если борьба продолжится до истребления противников? Подавлен будет класс, который один предан республиканской форме, — она останется беззащитна, она падет, и с нею умеренные республиканцы погибнут сами.

Продолжение борьбы было гибельно для них. Они должны были искать примирения с укрощенными ныне вчерашними противниками.

Они не только не сделали этого, они отвергли просьбу о примирении или хотя просто о пощаде, с которой пришли к ним инсургенты.

Это было в ночь с 25 на 26 июня. К президенту Национального собрания Сенару и к Кавеньяку явилась депутация инсургентов; она говорила, что инсургенты сдадутся, если им дана будет амнистия. Умеренные республиканцы отвечали устами Сенара и Кавеньяка, что это предложение — глупость, что покорность от инсургентов только тогда может быть принята, когда они сдадутся безусловно, на жизнь и на смерть. «Иначе нечего и хлопотать вам, являться ко мне, — сказал Кавеньяк депутации. — Я отвергаю всякие другие предложения».

Инсургенты могли ошибаться в значении слов «безусловная сдача на волю победителей»: быть может, умеренные республиканцы после этой сдачи оказались бы милостивее, нежели были до сих пор; но инсургентам натурально мог представляться в их требовании только один смысл, слишком ясно показанный в два предыдущие дня беспощадным употреблением картечи, расстреливанием инсургентов, попадавших в плен, убийствами людей безоружных, стариков и женщин, неистовствами подвижной гвардии. Они в ответе Сенара и Кавеньяка не могли видеть ничего иного, как требование итти под военный суд, по законам которого каждый инсургент подвергался расстреливанию. Умеренные республиканцы должны были знать, что иначе не может быть понято их требование. Отвергая просьбу о прощении, они сами говорили инсургентам: «Теперь вам не остается уже ничего, кроме как биться до последней капли крови, потому что пощады вам не будет».

То и случилось, к чему принуждали они этим инсургентов. На следующее утро (26 июня) с прежней беспощадностью возобновилась битва и кончилась в половине второго часа пополудни [так, как желали умеренные республиканцы] совершенным подавлением инсургентов.

Истребляемые в Париже, они бежали из города, рассеялись по окрестностям. Повсюду были посланы команды ловить их. Их находили попрятавшихся в лесах, скитающихся по полям, и скоро парижские тюрьмы переполнились пленными, переполнились ими казармы парижских фортов, все укрепленные здания в Париже, так что, наконец, пришлось набить ими даже подземный ход, который вел из Тюльери к Сене и который устроил себе на случай бегства Луи-Филипп. Число этих военнопленных простиралось до 14 000 человек.

Они все были отданы под военный суд, почти все приговорены к ссылке, но еще до судебного приговора было уже сделано распоряжение о ссылке их: они были переведены на понтоны для отправления в ссылку. Можно вообразить себе, каков был военный суд при таких наклонностях умеренных республиканцев, при

таком громадном числе подсудимых, — это было то, что называется по-французски суд на скорую руку, justice sommaire. [Нечего говорить о том, много ли было захвачено людей совершенно понапрасну, по ошибке; нечего говорить о том, много ли из этих арестантов, нимало не прикосновенных возмущению, было оправдано и много ли осталось попрежнему арестантами...]

Само собою разумеется, что общественное мнение, возмущенное этой ссылкой целой массы народа, массы, уже отправленной на понтоны без всякой формы суда, скоро принудило умеренных республиканцев к уступкам. Мало-помалу стали выпускать с понтонов одну партию пленных за другой, но все еще по прошествии целого года оставалось на понтонах несколько тысяч человек.

Ни Орлеанское, ни Бурбонское правительство не доходило до такого произвола. С того времени, как Наполеон в начале своего владычества без суда отправил в ссылку людей, ему опасных, не бывало во Франции подобных примеров. Но и наполеоновская ссылка была ничтожна перед этой произвольной мерой: тогда подвергнуты были произвольному наказанию всего сто, полтора-два человека, теперь подвергались многие тысячи людей.

[Таким-то образом началась диктатура Кавеньяка и полное владычество умеренных республиканцев во Франции. Они утвердились беспощадной победой в ужаснейшей из всех междоусобных битв, когда-либо заливавших Париж кровью; победа была завершена чудовищной ссылкой в противность всем понятиям о правосудии.]

Надобно ли говорить, что в этой ссылке еще более, нежели даже в самой беспощадности битвы, выразилась неспособность умеренных республиканцев понимать свое положение, их непредусмотрительность и бестактность? Государственным человеком достоин называться только тот, в ком благоразумие господствует над увлечениями страстей; но если мы даже извиним ослепление страстью во время борьбы, то по крайней мере по достижении совершенной победы рассудок должен вступать в свои права. Пусть умеренным республиканцам казалось нужно не только усмирить, но и совершенно обессилить работников. 26 июня это было сделано, и военные соображения должны были уступить место правительственным. Самое основное правило политического благоразумия говорит, что при внутренних раздорах победоносная сторона может укреплять свое господство только снисходительностью к побежденной, — так действовали все истинно государственные люди, от Юлия Цезаря до Наполеона. Умеренные республиканцы не понимали этого. Если бы после своего полного торжества они дали амнистию побежденным, уже переставшим быть для них опасными, они прикрыли бы этой мантией милосердия многие свои ошибки, привлекли бы к себе многих, отчужденных междоусобием. Они этого не сделали, и озлобление, вселенное ожесточением битвы и ужасами победы, раздра-

жалось и усиливалось холодной неуместностью напрасного мщения над людьми, которые уже не могли быть вредны победителям.

Таково было положение дел, когда умеренные республиканцы с диктатурой Кавеньяка приобрели безграничную власть во Франции. Ужасен и противен всем понятиям, — не говорим уже законности или гуманности, но всем понятиям обыкновенного житейского смысла, — был путь, который привел их к этому господству. Все, в чем некогда обвиняли они предшествовавшие правительства, было совершено ими в громаднейших размерах. Убийства в Трансноренской улице, апрельские судебные преследования¹³, за которые они так осуждали Орлеанское правительство, были ничтожной шуткой сравнительно с июньскими убийствами, расстреливаниями и ссылкой целых масс. Если бы кто-нибудь сказал умеренным республиканцам накануне февральских событий, что они совершат такие дела для сохранения власти, которую тогда готовились они приобрести, они с негодованием отвергли бы такое предсказание как нелепый бред. А между тем все совершившееся в июне было неизбежным следствием той системы, которая привела их к февральскому торжеству. Если бы предусмотрительность их не была помрачена политической страстью, они в начале 1848 года видели бы, что начинают игру слишком двусмысленную и страшную, — игру, которая необходимо приведет их в случае успеха к зверскому истреблению людей, которых они тогда призывали на помощь себе.

Сами они были малочисленны и слабы в начале 1848 года. Они одни не могли ничего сделать против Орлеанского правительства, которое хотели низвергнуть. Они вздумали вступить в союз с работниками и силой этого класса достигли своей цели.

Но чем они могли возбудить работников? Работники желали не перемены политических форм, а преобразований, которыми улучшилось бы их общественное положение. И вот республиканцы уверили их, что эти улучшения будут произведены республикой. Такой ценой приобрели они союз. Но могли ли они в самом деле исполнить свои обещания? Нет, желания работников признавали они несбыточными, гибельными химерами. При этом благоразумен ли был союз? Он основывался на самообольщении с обеих сторон. Работники думали получить себе удовлетворение через людей, которые в сущности были так же враждебны их желаниям, как Гизо и Дюшатель. Умеренные республиканцы воображали, что удержать работников им будет так же легко, как и возбудить их. Известно, каковы всегда бывают результаты союзов, основанных на том, что один союзник надеется достичь цели, которая отвергается другим; эти союзы ведут к смертельной вражде между союзниками. Так было и тут. Возбуждая надежды, которых не могли удовлетворить, умеренные

республиканцы должны были знать, что им придется отвергать требования, которым они льстили. В этих требованиях работники видели вопрос о жизни и смерти для себя — нельзя было не угадать, что для отвержения этих требований нужна будет смертельная битва против работников.

Но формалисты ничего не предвидят. Умеренные республиканцы легкомысленно повели в феврале против Орлеанского правительства людей, с которыми еще гораздо менее могли ужиться в согласии, нежели с Орлеанским правительством. Если бы они предвидели июнь, они отказались бы от вражды против Орлеанского правительства в феврале.

История возвышения партии умеренных республиканцев представляется поразительным примером того, как неизбежно осуществляется историей правило, внушаемое здравым смыслом и так часто забываемое в увлечении политических страстей: нужно подумать о том, каковы существенные желания людей, прежде нежели искать их содействия. Если бы работники и республиканцы понимали друг друга, они ни в коем случае не начали бы вместе действовать против Орлеанского правительства, потому что между ними было противоречие еще более важное, нежели причины их недовольства министерством Гизо.

Союз их был ненатурален, он привел к нелепости, — нелепость в исторических действиях ведет к событиям, губительным для страны.

Правда и то, что противоестественный союз между партиями, смертельно враждебными по сущности своих желаний, был произведен столь же противными здравому смыслу действиями Гизо, его покровителей и партизанов. Только самообольщение [Орлеанской системы] породило самообольщение в противниках, — это очевидно для всякого, кто припоминает историю времен, предшествовавших во Франции февральским событиям, и первая вина за ужасы, совершенные после того, падает на людей, которые довели дела Франции до нелепого положения, породившего февральские события. Здесь не место доказывать это, — мы хотели только изложить, каким рядом обманов и насилий умеренные республиканцы должны были выпутываться из того фальшивого положения, в которое стали для низвержения Орлеанской системы, какие нелепости и ужасы были необходимым условием утверждения их власти над Францией. Теперь нам должно рассказать вторую половину их истории; мы знаем, каким образом достигли они власти; теперь посмотрим, каким образом потеряли они власть; за возвышением их быстро последовало падение, и мы увидим, что падение было неизбежным следствием тех фальшивых или жестоких средств, которыми они достигли власти, и той несоответственности их убеждений с потребностями французского общества, которая с самого начала делала для них невозможным прямой и самостоятельный образ действий.

II

Июньская победа передала в руки умеренных республиканцев всю правительственную власть над Францией. Ужасным путем достигли они до этого торжества, и мы видели, что неизбежен был для них этот путь после той основной ошибки, которая сделана была в начале 1848 года умеренными республиканцами и парижскими работниками. Две партии, стремления которых были непримиримо противоположны, соединились тогда между собой для низвержения противников, которые по своим убеждениям гораздо менее разнились от умеренных республиканцев, нежели умеренные республиканцы от своих союзников. Результатом обманчивого союза на словах при полнейшем разногласии в желаниях была неизбежная необходимость двум на время слившимся партиям тотчас после одержанной в союзе победы вступить между собою в борьбу гораздо более серьезную, нежели та, в которой общими силами они низвергли Орлеанскую систему. Фальшивые исторические положения всегда дорого обходятся государству, но иногда бывают выгодны для тех, которые ставят в них государство, — это тогда, когда одна из партий, вступающих в обманчивый союз, хитрит и коварствует. Но тут обе партии действовали не по хитрому расчету, а по соображениям при всей своей ошибочности прямотдушным, и потому обе проиграли от ошибки, в которую одна увлечена была другою. Парижские работники за союз с умеренными республиканцами расплатились тем, что надолго остались без куска хлеба и тысячами погибли в битве, тысячами были брошены в темницы. Умеренные республиканцы заплатились тем, что пробудили ненависть к себе во всех тех классах населения, любовью которых дорожили.

Очень трудно было положение умеренных республиканцев после июньских дней, хотя вся правительственная власть была в их руках. Сами по себе они были малочисленны и слабы; они могли держаться, только опираясь на другие партии, которые тогда все сливались в два большие лагеря, почти поровну делившие между собою все народонаселение Франции.

С одной стороны соединились в одну массу все те [партии], идеал которых был не в будущем, а в прошедшем. Некогда они распадались на враждебные партии легитимистов и орлеанистов, смертельно ненавидевшие друг друга. Но теперь вражда их умолкла под грозою, одинаково страшной для всего, чем дорожили все они одинаково. В прежнее время был между ними спор о том, классу землевладельцев или классу капиталистов владычествовать во Франции, фамильным преданиям с придворными нравами и феодальными стремлениями или промышленной спекуляции с биржевыми правилами и узким либерализмом хитрого эгоизма. Теперь тот и другой интерес подвергался одинаковой опасности, и для своего спасения оба они слились в один инте-

рес — интерес возвращения господства над законами и администрацией тому, что называется превосходством по имуществу или значительностью в обществе. Люди, которым лично выгодно это возвращение, немногочисленны во Франции, [как и везде они немногочисленны]. Но тогда [во Франции, как и почти всегда во всех странах] каждый из них имел за собою более или менее значительное число клиентов, привыкших слушаться или поставленных в необходимость повиноваться ему. Так за капиталистами шли очень многие из людей, зависевших от них по промышленным делам, и голосу их следовало большинство в сословии торгующих людей и рентьеров, хотя эти маленькие люди, если бы ясно сознавали свои выгоды, могли бы заметить, что биржа и банкиры вовсе не представляют их интересов. За большими землевладельцами во многих провинциях шли поселяне; по воспоминаниям феодальных времен и по ультрамонтанским стремлениям заодно с большими землевладельцами было католическое духовенство, пользовавшееся очень значительным влиянием на поселян. Таким образом лагерь, желавший восстановления старого порядка, располагал очень значительными силами.

С другой стороны были люди, желавшие, как мы говорили, изменений в материальных отношениях сословий, желавшие законодательных и административных мер для улучшения быта низших классов. Естественно было бы полагать, что вся масса простолюдинов станет на этой стороне. Но знание о новых мерах, предполагавшихся в их пользу, было распространено только между простолюдинами больших городов. Поселянин во Франции ничего не читал, почти не встречал образованных людей, которые рассказали бы ему, в чем дело. Потому реформаторы имели на своей стороне только городских простолюдинов; из сельского населения, погруженного в совершенное незнание, большая половина следовала за своими обычными авторитетами — землевладельцами и духовенством, и только в немногих, ближайших к большим городам округах поселяне сочувствовали идеям городских простолюдинов.

Посредине между этих двух огромных лагерей стояла немногочисленная армия умеренных республиканцев. С тем и другим станом были у ней сильные причины к несогласию, но с тем вместе и важные точки соприкосновения, подававшие возможность к сближению.

От партий, желавших сохранения общественного быта в прежнем его виде, умеренные республиканцы разделялись воспоминаниями жестокой вражды с конца прошлого века до низвержения Орлеанской системы. Еще важнее было разногласие в мнениях о форме правительства. Реакционеры ужасались слова «республика» — не потому, что в самом деле были искренними монархистами, а просто потому, что представляли республику осуществлением безграничной демократии.

От реформаторов умеренные республиканцы отделялись также воспоминаниями о борьбе, которая была менее продолжительна, но еще более жестока, нежели борьба с реакционерами; притом же и воспоминания эти были свежее; последний и самый страшный акт борьбы только что совершился, и продолжались еще его последствия: осадное положение, арест нескольких тысяч человек, стеснение газет и т. д. О коренном разногласии в идеях мы уже говорили: умеренные республиканцы хотели остановиться на изменении политической формы, реформаторы утверждали, что оно ничего не значит без изменения в сословных отношениях, которое умеренные республиканцы вместе с монархистами называли нелепой и гибельной химерой.

Причины к раздору были, как видим, чрезвычайно важны. Но отношения между тремя лагерями по материальной силе были таковы, что ни один сам по себе не мог управлять Францией нормальным и прочным образом, — получить решительный перевес в обществе могла каждая из трех главных партий не иначе, как в союзе с другой. Впоследствии времени были заключаемы такие союзы, — значит, они были возможны, несмотря на всю силу взаимных несогласий. Так в конце 1849 года умеренные республиканцы действовали дружно с реформаторами против реакционеров, а позднее — заодно с монархистами против Луи-Наполеона. Но тот и другой союз был слишком позднен. Во-время враждебные партии не хотели и слышать о прекращении борьбы, которая поочередно погубила их. Теперь нас занимает история умеренных республиканцев; потому, оставляя в стороне ошибки, сделанные другими партиями, мы посмотрим только, какие ошибки были причиной низвержения этой партии [и какими мерами было бы возможно ей предотвратить несчастье, постигшее Францию].

В половине 1848 года все люди всех партий одинаково чувствовали, что первой необходимостью для Франции было учреждение прочного правительства. Прочность не зависела тут от имени и формы, а единственно от того, чтобы партия, которая управляла бы государством, имела бы на своей стороне решительное и прочное большинство в нации. Ни одна из партий, взятых в отдельности, не имела этого большинства, и всего менее могли обольщаться в этом случае умеренные республиканцы, на каждом шагу получавшие доказательства своей малочисленности. Кратчайшим путем к получению поддержки большинства был бы для них прямой союз с одной из двух многочисленных партий. На каких условиях был возможен тогда этот союз?

Реакционеры ужасались слова республика вовсе не потому, чтобы были искренними монархистами: они скоро примкнули к Луи-Наполеону, сопернику Бурбонов и Орлеанского дома. Истинной привязанности к монархической форме у большей части из них было так мало, что они с удовольствием согласились бы

на республику, если бы только сохранилось в этой республике преобладание высших классов. От республиканской формы умеренные республиканцы не могли бы отказаться ни в каком случае, но этой уступки пока от них и не требовалось бы; возможна ли была уступка, которая действительно требовалась реакционерами? Умеренные республиканцы имели чрезвычайное пристрастие называть себя демократами; вот именно эта-то прибавка к слову республиканец и возмущала реакционеров; а между тем был ли в этой прибавке какой-нибудь реальный смысл? Было ли практическое значение? По правде говоря, вовсе нет. Гордясь именем демократов, умеренные республиканцы гнушались именем демагогов, а демагогами называли всех тех, которые хотели действовать возбуждением масс для достижения целей, сообразных с выгодами масс. Какой же реальный смысл оставался после того за именем демократ? Тот, что умеренные республиканцы не хотели допустить такого преобладания аристократических элементов, какое видели в Англии; им больше нравилось устройство Северо-Американских Соединенных Штатов. Но во Франции аристократические элементы вовсе не имеют той силы, как в Англии, и далеко не имели в 1848 году притязания сделать из Франции Англию; все, чего в сущности желали они, ограничивалось спокойствием на улицах и сохранением прежних сословных отношений. В сущности того же самого желали и умеренные республиканцы. К чему же после того было умеренным республиканцам так шумно кричать о своем демократизме, запугивая этим громким словом добрых людей, не замечавших, что демократ становится пустейшим и бессильнейшим из людей, как скоро придумывает разницу между демократизмом и демагогией? Нерасчетливо было со стороны умеренных республиканцев отталкивать от себя реакционеров словом без реального значения; нерасчетливо было и со стороны реакционеров из-за пустой парадной похвальбы отстраняться от людей, у которых за душой не было в сущности ничего непримиримого с тогдашними потребностями реакционеров.

Та и другая партия забывали об одинаковости своих настоящих желаний из-за споров об именах и исторических воспоминаниях. Они могли бы действовать дружно, но не хотели того. Реакционеры непременно хотели низвергнуть умеренных республиканцев из-за их пустой претензии на демократизм. Если умеренные республиканцы никак не решались отказаться от пустого слова для привлечения на свою сторону реакционеров, то не могли ли они вступить в союз с реформаторами?

Тут недоразумение было еще нелепее. Умеренные республиканцы, восхищаясь своим [ровно ни в чем дельном не состоявшим] демократизмом, еще с большим усердием кричали, что хотя они и демократы, но презирают и ужасаются демагогов. Крик о демагогах был так шумен и производился с таким серьезным

выражением лица, как будто в самом деле в 1848 году Франции угрожали какие-нибудь Иоганны Лейденские и Томасы Мюнцеры или по крайней мере Дантоны. А на самом деле, каковы бы ни были идеи реформаторов, но сами реформаторы никак не должны были бы внушать ужаса, — справедливы или ошибочны, практичны или неосуществимы были их мнения, но сами по себе эти люди нимало не походили на возмутителей, опасных для спокойствия парижских улиц. Это были люди не уличных волнений, а ученых рассуждений в тишине кабинета, заваленного головоломными книгами; даже говорить в многочисленном обществе очень немногие из них были способны, и почти каждый из них был силен только с пером в руке, за письменным столом. Действия таких людей не могли в сущности представлять ничего опасного для материального порядка. Но, быть может, их мнения и требования были неудобноисполнимы или опасны?

О их общих теориях мы не хотим здесь говорить потому, что не их партия служит предметом нашей статьи: мы должны показать только их отношения, в последней половине 1848 года, к партии, главой которой был Кавеньяк. После июньских дней те силы, которыми могли бы осуществляться теории реформаторов, были сокрушены и надолго уничтожена всякая надежда реформаторов иметь правительственную власть. Дела приняли такой оборот, что надобно было ждать чрезвычайного влияния реакционной партии на ход событий. Требования реформаторов не простирались уже до того, чтобы их теории приводились в исполнение правительством; они почли бы себя чрезвычайно счастливыми уже и тогда, если бы хотя половина тех обещаний, которые два-три месяца тому назад давались не только умеренными республиканцами, но и реакционерами, была исполнена. И тут были громкие слова, служившие предметом споров, например «право на труд», но под громкими словами скрывались теперь требования самые скромные: хотя сколько-нибудь действительной заботливости со стороны правительства о помощи стесненному положению низших классов, и реформаторы были бы довольны. Не только умеренные республиканцы, но и все рассудительные люди между реакционерами были убеждены в необходимости позаботиться об улучшении быта низших классов. В большинстве и умеренных республиканцев и даже реакционеров это убеждение было не только внушением расчета, но и искренним желанием. Кроме немногих нравственно-дурных людей, все желали позаботиться о распространении образования между простолюдинами, об улучшении их квартир, об улучшении мелкого кредита, к которому они прибегают, об избавлении их от ростовщиков и т. д. Между умеренными республиканцами не было ни одного, который не имел бы этих желаний, а серьезной заботы об исполнении этих желаний было бы довольно для приобретения поддержки со стороны реформаторов. Но вместо того, чтобы заботиться о вещах,

которые всем казались и полезны и практичны, умеренные республиканцы предпочли спорить против разных призраков и проводили время в опровержении требований, которых никто не предлагал, но существование которых предполагалось умеренными республиканцами. Самая простая, самая легкая мера вызывала против себя крики о невозможности и опасности, потому что под нею всегда предполагалась какая-нибудь громадная теория. Призрак материальной демагогии, за которую не хотел или не был способен приниматься ни один из реформаторов, и призрак утопических теорий, которых никто не хотел приводить в исполнение в тогдaшнее время, — эти целепые призраки не давали умеренным республиканцам и подумать о союзе с реформаторами, которых им угодно было воображать себе сумасшедшими людоедами.

Таким образом по существенному положению серьезного дела умеренным республиканцам был бы возможен союз с каким угодно из двух враждебных лагерей, разделявших между собою население Франции. Но отчасти воспоминание о прежних причинах вражды, отчасти громкие слова, пугавшие воображаемым значением, которого не имели, препятствовали сближению. Вероятно, если бы в партии умеренных республиканцев предводители были великими государственными людьми, эти затруднения были бы устранены своевременно, и партия умеренных республиканцев приобрела бы прочную опору себе или от реакционеров, или от реформаторов, смотря по тому, с каким из этих лагерей нашла бы она более точек одинаковости в стремлениях. Нам кажется, что если бы умеренными республиканцами руководили такие люди, как Ришелье, Штейн или Роберт Пиль, то она предпочла бы сближение с реформаторами. Несмотря на всю жестокость июньских битв и следовавших за ними проскрипций, реформаторы легче, нежели реакционеры, согласились бы поддерживать умеренных республиканцев: после июньских дней реакционеры стали так самонадеянны, что внушали уже чрезвычайно серьезные опасения реформаторам, и таким образом самая жестокость поражения, нанесенного реформаторам умеренными республиканцами, заставляла этих последних быть склонными к поддержке победителей, за которыми выказывались грозные полчища людей, одинаково враждебных и побежденным, и победителям. Но в партии умеренных республиканцев недоставало государственного благоразумия на вступление в решительный союз ни с той, ни с другой из партий, имевших наиболее существенного могущества. Они вздумали держаться собственными силами. Ошибка эта была очень важна; она основывалась на странном самообольщении относительно своих сил. Умеренные республиканцы как будто не знали, что их образ мыслей, основанный на теоретических соображениях, а не на материальных сословных выгодах и

потребностях, по необходимости может иметь своими последователями только небольшое число тех людей, которые действуют в жизни не по требованию житейских интересов, а по правилам отвлеченной теории; они воображали, что умозаключения, а не интересы руководят людьми. От людей, впадавших в такое отвлеченное заблуждение, едва ли можно ожидать ловкого практического образа действий; но если бы они действовали практично, то могли бы даже без союза с сильнейшими партиями сделать очень многое для утверждения своих идей в государственной жизни французской нации.

Положим, что они были совершенно неисправимы в основном своем заблуждении, в том, что считали себя гораздо более многочисленными, нежели как были на самом деле; но все-таки они очень хорошо знали, что слишком значительная часть народонаселения Франции не сочувствует их политическим мнениям. Они должны были употребить все заботы, чтобы увеличить число своих приверженцев. Приобретать прозелитов своим убеждениям вовсе не так легко, как находить союзников своим интересам; но все-таки искусный государственный человек может довольно быстро распространить свои понятия в массе, если будет заботиться об удовлетворении тех материальных потребностей нации, которые не противны его убеждениям. Умеренные республиканцы имели в своих руках правительственную власть и при малейшем искусстве в парламентской тактике могли верно рассчитывать на поддержку большинства в Национальном собрании; это было уже очень важное преимущество. Несколько месяцев им оставалось для того, чтобы укрепиться в занимаемом ими положении, и если бы они сумели воспользоваться этим временем, они могли бы утвердиться довольно прочно. Люди, которые, управляя делами несколько месяцев, не будут в конце их гораздо сильнее, нежели были в начале, неспособны управлять делами.

Не вступая в союз с многочисленнейшими партиями, умеренные республиканцы не должны были надеяться на помощь от людей, предводительствовавших этими партиями; но масса никогда не имеет непоколебимых и ясных политических убеждений; она следует впечатлениям, какие производятся отдельными событиями и отдельными важными мерами. Эту массу могли бы привлечь к себе умеренные республиканцы, если бы позаботились о том, чтобы их управление производило выгодные впечатления на массу и удовлетворяло тем ее желаниям, которые могли они исполнить, не изменяя своему образу мыслей.

Государственный бюджет всегда составляет одну из самых общих и сильных причин довольства или недовольства в массах. Франция жаловалась на обременительность податей; особенно силен был общий ропот против обременительных налогов на соль и на вино и против пошлин, собираемых в городах с съестных припасов (*ostroi*): С самого Наполеона непрерывно шел этот

ропот; каждое правительство, заботясь при своем начале о популярности, обещало отменить налоги на соль и вино; ни одно не считало потом нужным сдержать это обещание, и при каждом перевороте одной из сильнейших причин того глухого недовольства, которое предшествовало волнению, был ропот на эти налоги. Соль и вино участвовали в падении Наполеона, Бурбонов и Орлеанской династии. Уничтожить городские пошлины с провинции было бы не менее полезно: пока на них роптали только горожане, но зато от горожан зависела прочность правительства еще больше, нежели от поселян; притом, если существование этих пошлин не беспокоило поселян, то уничтожение их скоро было бы признано за благодеяние и поселянами, потому что увеличилось бы тогда потребление мяса, хлеба и т. д. в городах, стало бы развилась бы торговля сельскими продуктами. Налоги на соль и вино доставляли государству около двухсот миллионов франков, и при огромности французского бюджета было бы легко произвести эту экономию; если же не хотели сокращать государственных расходов, то желания масс указывали источник, из которого было бы легко с избытком получать эти двести миллионов. Как обременительны казались налоги на вино и соль, так, напротив, чрезвычайно популярно было бы учреждение подати с капитала или с дохода. Ничем нельзя было бы в делах финансовых так угодить массе народа, как обращением косвенных налогов в прямые. Пошлины с съестных припасов поступали в городские доходы, — эти пошлины также легко было бы заменить прямыми налогами.

Кроме постоянных налогов, чрезвычайный ропот был возбужден нелепым временным увеличением поземельного налога на 1848 год. Этот временный добавочный налог равнялся почти половине основного налога и по смете должен был доставить до двухсот миллионов франков, но на деле доставил гораздо менее, потому что никто не хотел его платить. В первой статье мы уже упоминали, что он был одной из главных причин реакции, обнаружившейся против февральского переворота. Надобно было отменить эту неудачную меру, через несколько дней после февральской революции придуманную одним из умеренных республиканцев, Гарнье-Паже.

Эти облегчения были бы необходимы даже в том случае, если бы умеренные республиканцы не хотели сокращать государственных расходов, — в таком случае надобно было бы, как мы говорили, заменить уничтоженные косвенные налоги прямыми; но народные желания требовали значительного сокращения бюджета, который был доведен до страшных размеров расточительным управлением Луи-Филиппа, при котором в течение 18 лет государственные расходы и вместе с ними подати увеличились вдвое. Из 1 800 миллионов франков надобно было бы довести расходы не более как до 1 200 миллионов. Благоразумные политико-эконо-

Мисты видели в этом государственную необходимость. Умеренные республиканцы признавали справедливость их слов, но ничего важного не сделали для исполнения этой необходимости.

Другим общим желанием дельных людей всех партий было отменение тех излишеств административной централизации, которые обременяли чиновников и самым утомительным образом стесняли деятельность частного человека, равно никому не принося пользы и ни для чего не будучи нужны. Чтобы починить какой-нибудь дрянной мост через ручей в каком-нибудь селе, надобно было испрашивать разрешения от министра. Постройка домов, мощение улиц — для всего этого нужны были позволения и предписания от парижского правительства. Умеренные республиканцы, конечно, понимали неудобства этого порядка, связывавшего всю Францию, сами реакционеры говорили об этом благоразумно. Но и тут ничего не было сделано.

Стеснительные меры, казавшиеся необходимостью после июньских событий, лишали умеренных республиканцев популярности при начале управления Кавеньяка. Ни одна из тех мер, которые мы сейчас перечислили и которые могли бы уменьшить эту непопулярность, не была принята правительством умеренных республиканцев в продолжение трех или четырех месяцев, следовавших за учреждением их правительства. Быть может, достаточным извинением тому могли быть бесчисленные хлопоты и затруднения, в которые вступывалось новое правительство; во всяком случае умеренные республиканцы надеялись через несколько времени продолжать свое управление лучше, нежели начали его. Они надеялись раньше или позже приобрести популярность, которой лишены были летом и осенью 1848 года. Таким образом, по их собственному мнению, весь вопрос состоял в том, чтобы удержать за собою власть до той поры, когда приобретется ими популярность. Выиграть время — для них было бы выиграть дело.

Было несколько средств для них продлить свою власть. Она вручена была Кавеньяку временным образом от Национального собрания, и Национальное собрание сначала не хотело торопить его прекращением этого положения. Зная свою непопулярность в настоящее время, умеренные республиканцы могли бы прибегнуть к средству, которое надолго упрочило бы их тогдашнее положение и даже сделало бы их любимцами народа. Точно так же, как и все французы, они чувствовали желание, чтобы Франция заняла в Западной Европе то первенствующее положение, которым пользовалась при Людовике XIV и при Наполеоне. Они считали унижением для Франции трактаты 1815 года¹⁴. Соседние страны представляли много удобных случаев для начатия войны на Рейне или в Италии. Италия нуждалась в помощи французов против австрийцев. Прирейнские области Пруссии и все государства западной Германии находились в таком [волне-

нии], что французская армия могла явиться в Германию союзницей одной из партий, готовившихся вооруженною рукою решать спор о сохранении или изменении порядка дел в Германии. [Нет сомнения в том, что и та и другая война пошла бы удачно для Франции. Слава, которую приобрело бы правительство, польстив победами национальной гордости, придала бы ему и прочность и популярность. Но и на войну не решились умеренные республиканцы.]

Но, не принимая никакой решительной меры, Кавеньяк и его друзья давали проходить одному месяцу за другим, пока уже поздно было вознаграждать потерянное время. Чего же ждали они и на что надеялись? Они, кажется, воображали, что все устроится по их желанию одним магическим действием тех громких слов, в неотразимую очаровательность которых они верили; они, кажется, предполагали, что Франция находит их людьми необходимыми, потому что они сохраняют порядок и с тем вместе защищают слово республика, как будто бы слово республика могло восхищать само собою кого-нибудь, кроме немногочисленных и бессильных теоретиков, и как будто реакционеры не считались гораздо лучшими ревнителями порядка, нежели республиканцы.

Наконец был еще один путь для удержания власти: можно было сохранять свое владычество при помощи [практической] силы, отстраняя формальное выражение национальных желаний. Умеренные республиканцы могли говорить, что партии, разделяющие между собою Францию, находятся в такой вражде между собою, из которой снова легко может возникнуть междоусобная война при первом поводе к тому (и это было бы правда); что потому официальные проявления народной жизни, слишком волнующие массу, как, например, государственные выборы и особенно выбор президента республики, должны быть отложены на некоторое время, пока умы успокоятся. Они не сделали этого, не умели во-время предвидеть результата, к которому приведет выражение народных симпатий и антипатий при тогдашней перепутанности понятий.

Умеренные республиканцы не имели столько благоразумия, чтобы отсрочить на год или полтора года выбор президента республики. Но когда обнаружилось, что их кандидат Кавеньяк не имеет вероятности быть избранным, у них оставалось еще средство в значительной степени уменьшить вредные для них последствия этой ошибки. Они уже предвидели, что исполнительная власть перейдет в руки кандидата противных им партий. Но в Национальном собрании, у которого законодательная власть могла оставаться еще очень надолго, большинство принадлежало им. Политический расчет должен был говорить им, что следует как можно более увеличить влияние законодательной власти и как можно более подчинить ей исполнительную. Они не сделали и этого,

пожертвовав и собственными выгодами, и спокойствием государства отвлеченному соображению о том, что исполнительная власть должна быть сильна и независима.

При самых благоприятных обстоятельствах не могла бы удержать за собою власти партия, действовавшая так непредусмотрительно и нерешительно. В несколько месяцев постепенно исчезло то могущество, которое было утверждено за умеренными республиканцами июньской победой. Напрасно было бы винить в том обстоятельства: если много было в них затруднительного и неблагоприятного, то еще больше было выгодного для умеренных республиканцев; сами по себе они были довольно слабы, но у них в руках было все то могущество, которое дается государственной властью; притом же все другие партии, хотя и более многочисленные, были в то время еще слабее умеренных республиканцев; одни из них были поражены в июне, другие в феврале, и ни одна не успела еще оправиться после поражения. Их слабость доходила до безнадежности, и ни одна не отваживалась даже и предъявлять притязаний на то, чтобы заступить место умеренных республиканцев в управлении государством. И когда пришло время борьбы за власть, единственным опасным соперником умеренных республиканцев явился кандидат, тогда еще не имевший никакого самостоятельного политического значения и обязанный своим успехом преимущественно тому, что его поддерживали люди, в сущности столько же враждебные ему, как и умеренным республиканцам, — поддерживали оттого, что считали его еще гораздо более слабым, нежели были сами. При таком бессилии соперников легко было бы надолго удержать за собою власть умеренным республиканцам, если бы они были хотя сколько-нибудь практическими людьми. Но за блеском и шумом своих отвлеченных формул они не видели и не слышали ничего, и каждое событие было для них неожиданностью, которой они беззащитно уступали до тех пор, пока, наконец, были совершенно оттеснены от власти, которую не умели пользоваться.

Таков общий характер событий французской истории с конца июня до конца ноября 1848 года. Краткий обзор этих событий подтвердит старую истину, что непредусмотрительность и нерешительность в государственных делах губительны бывают и для государства и для людей, не умеющих пользоваться властью.

По укрощении восстания Кавеньяк явился в Национальное собрание и объявил, что возвращает ему ту диктаторскую власть, которую получил от него на время битвы. Собрание решило, что опасность еще продолжается, и потому просило Кавеньяка оставаться главою правительства, предоставив ему право по своему усмотрению составить министерство. Выбором министров и других важнейших сановников Кавеньяк и умеренные республиканцы, им руководившие, показали, какими ошибочными соображениями руководились они, когда решили, что диктатура должна быть про-

должна. Большинство министров было взято из умеренных республиканцев, но некоторые важнейшие посты были вверены людям из старинных партий, управлявших Францией с 1815 до 1848 года. Военным министром был сделан Ламорисьер, друг принцев Орлеанского дома. Этот выбор не был, впрочем, опасен для республики: человек честный, Ламорисьер не интриговал против правительства, участником которого был. Гораздо больше опасности представляло назначение генерала Шаугарнье комендантом парижской национальной гвардии: Шаугарнье всячески хлопотал о восстановлении системы, разрушенной в феврале, и был известен неумеренностью своих реакционных стремлений. Выбор его на столь важное место доказывал, что умеренные республиканцы хотят опираться на реакционеров, что свою диктатуру они хотят направить исключительно против реформаторов, которых одних считают опасными для государственного порядка.

Это прямо обнаруживалось речами и действиями умеренных республиканцев в Национальном собрании, о котором пора нам сказать несколько слов, потому что с июля до половины ноября от его решения зависели все важнейшие дела.

Из девятисот «представителей народа», составлявших Национальное собрание, до 350 человек принадлежали разным реакционным партиям. Они сидели на правой стороне зала. Около 300 человек, сидевшие в центре, несколько ближе к левой, нежели к правой стороне, были умеренные республиканцы. Наконец левую сторону занимали крайние республиканцы и реформаторы, которых находилось в Собрании до 250 человек. При таком распределении [партий очевидно большинство могло состояться] только посредством соединения двух партий из числа трех. Чтобы проводить свои меры, правительство, кроме прямых своих приверженцев, должно было иметь поддержку или от левой стороны, — в таком случае предложения правительства имели бы за себя большинство около 200 голосов, — или поддержку от правой стороны, и в таком случае большинство доходило бы до 400 голосов. Люди, незнакомые с парламентскою тактикою, могут подумать, что при таком распределении голосов для получения поддержки с той или другой стороны центральная партия должна была делать много уступок той партии, голоса которой хочет иметь. Вовсе нет; ни та, ни другая из крайних партий не могла иметь никакой надежды приобрести большинство своими собственными мерами потому, что они встречали бы сопротивление в обеих остальных партиях, стало быть могли иметь большинство только такие меры, которые выходили бы от центральной партии. Она могла по произволу выбрать себе поддержку с той или с другой стороны, и тут должно происходить нечто подобное тому, как бывает при встрече двух продавцов с одним покупщиком: тот и другой продавец наперерыв друг перед другом понижает

цену до последней крайности и рад довольствоваться самой незначительной выгодой.

Малейшее предпочтение, оказываемое центральной партией правой стороне над левою или наоборот, уже приобретает ей голоса этой стороны. Мало того: нужно только, чтобы центральная партия выказывала больше нелюбви, например, к левой стороне, нежели к правой, и правая сторона будет самым усердным образом поддерживать центр, хотя бы центр и с нею обходился очень сурово. Это преобладание центра в решении дел доходит до того, что искусные парламентские предводители с центральной партией из 50 человек могут управлять решениями собрания, состоящего из 500 человек. Итак, умеренные республиканцы, имея целую третью часть голосов и занимая средину между двумя крайними партиями, почти равносильными, должны были решительно господствовать в Национальном собрании. Им довольно было решительно отталкивать от себя одну из этих партий, чтобы иметь горячую поддержку со стороны другой. Какую же из двух партий будут они преследовать? — вот вопрос, представлявшийся им после июньских дней. Левая сторона была лишена сильнейших своих предводителей в парламенте и потеряла свою армию вне парламента. Она не могла теперь быть опасна, как бы громко ни выражала свой гнев. Всякое снисхождение от центра она приняла бы без всяких условий. Но центр не видел настоящего; ему все чудились страшные призраки июньских дней; он воображал, что завтра, послезавтра могут снова стать на баррикаду сорок тысяч пролетариев, забывая, что уже не осталось в Париже пролетариев, способных драться. Умеренные республиканцы воображали, что через неделю после Иены и Ауэрштета пруссаки могли разбить Наполеона, что Наполеон на другой день после Ватерлоо мог дать новую генеральную битву. Они твердили, что ужасаются страшных замыслов левой стороны. Этим нерасчетливым выражением пустого страха они лишили себя всех выгод своего центрального положения, объявив, что им нет выбора между правой и левой стороной. Естественно стала через это в очень выгодное положение правая сторона. Центр объявлял, что она ему необходима, и она могла дорого продавать свой голос. Под влиянием пустого страха центр так сильно погнулся на правую сторону, что потерял всякое равновесие, и можно было увлекать его все дальше и дальше направо. А между тем опасность ему была после июньских дней справа, а не слева. Силами реакционеров была выиграна июньская победа, и победители, конечно, были гораздо требовательнее, нежели побежденные. Никакие уступки со стороны центра не удовлетворяли правую сторону; с каждым днем она делалась все настойчивее, интриговала смелее и вынуждала у центра новые уступки.

Возвращая диктатуру Кавеньяку, центр прямо говорил, что эта диктатура направлена исключительно против левой стороны

и что для поддержания своей власти он будет опираться исключительно на правую сторону. Он давал веру всем слухам о заговорах и замыслах левой стороны и отвергал как клевету все подобные слухи о правой стороне, выставлял опасными все мелкие беспорядки, при которых слышались крики, бывшие лозунгом левой стороны, и оправдывал все подобные случаи, выходявшие с правой стороны. Кавеньяк запретил большую часть газет левой стороны, хотя они нападали только на людей и отдельные распоряжения, а не на самую форму правительства тогдашней Франции, и охранял все газеты правой стороны, хотя они открыто стремились к низвержению той формы правительства, представителем и защитником которой был он, — побежденная революция представлялась ему более серьезным врагом, нежели победоносная реакция. Скоро для обуздания левой стороны были предложены центром три закона: по первому каждая политическая газета была обязана внести в казну 24 000 франков (6 000 рублей серебром) как обеспечение в уплате штрафов, которые могут быть на нее наложены; по второму назначались тяжелые наказания за газетные статьи, противные общественному порядку; по третьему клубы подвергались строгому полицейскому надзору.

Этими законами совершенно разрушалось равновесие между правою и левою стороною в средствах политической деятельности. Уже и прежде правой стороне было дано гораздо больше простора, нежели левой; теперь последняя была чрезвычайно стеснена, между тем как до правой стороны новые законы вовсе не касались. Правая сторона была гораздо богаче левой. Газеты правой стороны без хлопот взяли у своих патронов требуемые обеспечения: вместо 24 000 каждая из них, не стесняясь, нашла бы и 240 000 франков. Те проступки, которые совершались газетами правой стороны, оставались без преследования, между тем как газеты противной партии беспрестанно отдавались под суд и осуждались на штрафы. Клубы для левой стороны были тем, чем балы, большие обеды и фойе Оперы и Французского театра для правой: преследуя те собрания, в которых рассуждали о политике приверженцы левой стороны, полиция предоставляла полнейшую свободу всем собраниям правой стороны.

Просим читателя не забывать точки зрения, с которой мы излагаем события. Мы говорим вовсе не о том, хороши или дурны были убеждения той или другой партии. Наша цель вовсе не теоретический разбор различных политических убеждений, существовавших во Франции в 1848 году; до них нам нет никакого дела; до них мало дела даже и французам настоящего времени: в десять лет все эти убеждения совершенно устарели, и нет теперь во Франции человека, который думал бы о вещах точно так, как думал в 1848 году. Но если вопросы и обстоятельства в различных странах и в разное время бывают различны, то правила

благоразумия во всех странах вечно неизменны. Только эта сторона событий, сохраняющая навсегда интерес для жизни, интересует нас здесь. Каковы были мнения умеренных республиканцев, нам нет дела; мы хотим только знать, благоразумно ли поступали они; каковы были цели, которые имели они в виду, — вопрос посторонний для нас; нам хочется только показать, что они не умели выбирать средств для достижения целей, и из их ошибок вывести некоторые правила [политического благоразумия, — правила] вроде знаменитого латинского стиха, применяющегося ко всему, что делается на белом свете:

Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem, —

«Что бы ты ни делал, поступай благоразумно и рассчитывай последствия своих поступков». Быть может, образ мыслей умеренных республиканцев был вреден для государства; лично мы даже уверены в этом. Быть может, для Франции было счастьем, что вместо Кавеньяка правителем Франции сделался Луи-Наполеон, — многие говорят это. Мы вовсе не сравниваем этих двух людей по образу мыслей; мы рассматриваем только, до какой степени надобно приписать Кавеньяку и умеренным республиканцам торжество Луи-Наполеона, и находим, что они постоянно действовали в пользу ему и во вред себе; а так как они хотели вовсе не того, то мы и находим, что они держали себя нерасчетливо; для того чтобы обнаружить эту нерасчетливость, мы должны показывать, в чем должны были бы состоять для них внушения благоразумия. Быть может, правая сторона по образу мыслей была совершенно справедлива; но ее усиление вело ко вреду центра, потому и не расчетливо поступал центр, содействуя ее возвышению. Он должен был или сам принять мнения правой стороны, или бороться с нею, — он не сделал ни того, ни другого. Правая сторона усиливалась его помощью, а между тем продолжала ненавидеть его, и с каждым днем он должен был уступать шаг за шагом власть врагам, которым сам помогал.

Скоро правая сторона не удовлетворялась тем, что некоторые из важнейших мест в правительстве отданы ей; она стала требовать, чтобы из министерства были удалены люди, ей не нравившиеся. Прежде других был удален в угодность ей министр народного просвещения Карно, которого реакционеры не любили отчасти за его имя, отчасти за то, что он издавна был дружен с людьми, которые были подозрительны реакционерам. Не прошло двух недель после июньской победы, как правая сторона уже потребовала его удаления, и место его отдано человеку правой стороны, известному историку Волабеллю. Через три месяца правая сторона снова потребовала отдачи своим предводителям еще двух мест в министерстве. Сенар, министр внутренних дел, бывший президентом Национального собрания, в июне вместе с Кавеньяком принимал самые крутые меры для подавления ин-

сургентов. Тогда реакционеры превозносили его; но в начале октября уже не хотели терпеть в министерстве человека, которого еще недавно называли одним из спасителей общества. Сенар должен был уступить место Дюфору, и его отвержение правой стороной служило очень ясным предсказанием, что скоро будет отвергнут ею и главный из июньских «спасителей общества», Кавеньяк. Дюфор подобно Ламорисьеру не интриговал по крайней мере против порядка дел, существовавшего тогда во Франции. Но другой член правой стороны, вместе с ним вступивший в министерство Кавеньяка, Вивьен, явно стремился к низвержению правительства, в котором стал участвовать.

Эти смены министров правая сторона уже не выпрашивала, как прежде: в октябре она стала так смела, что уже стала отнимать свои голоса у Кавеньяка, когда хотела принудить его к новой уступке. Она уже открыто говорила, что поддержка ее необходима ему, что она чуть ли не из милости держит его президентом исполнительной власти. При таких словах было очевидно, откуда грозит опасность центру; но он оставался непреклонен в своем ужасе перед призраком новых баррикад и делал правой стороне одну уступку за другой.

Вместе с прениями об административных вопросах и текущих происшествиях шли в Национальном собрании прения о конституции. Из всех вопросов о государственном устройстве ближе всего касался судьбы правительства вопрос об отношении исполнительной власти к законодательной. В теории существовало об этом два различные мнения: одни приписывали частые перевороты, раздиравшие Францию в последние 60 лет, тому, что у правительство было будто бы слишком мало силы для сопротивления инсургентам, низвергавшим их одно за другим. Другие указывали на то, что постоянно исполнительная власть во Франции подчиняла себе законодательную и, пренебрегая законным контролем ее, впадала в ошибки, которые и бывали прямой причиной общего неудовольствия, приводившего к насильственным переворотам; из этого они выводили, что для прочности исполнительной власти и сохранения государственного спокойствия законодательную власть во Франции надобно усилить на счет исполнительной, так чтобы контроль первой над последней был действителен. Которое из двух мнений было справедливо в теоретическом отношении, мы не станем рассматривать. Но очевидно было, к которому из этих двух мнений должны были присоединиться умеренные республиканцы. В Национальном собрании они господствовали; каковы будут стремления исполнительной власти, когда она сделается независимой от законодательной, они не знали наверное, но могли предполагать, что она не будет чужда тем преданиям, какие остались от всех французских правительств со времен Наполеона. Эти предания были вовсе не в пользу умеренных республиканцев. Благоразумие ясно указывало им путь.

Пусть их теоретические убеждения были бы в пользу независимости исполнительной власти от законодательной; но они должны были понять, что не время им проводить в дело чистую теорию и надобно принять в соображение настоящие привычки, отлагая полное осуществление теории до той поры, когда изменившиеся понятия самой исполнительной власти о своих обязанностях будут служить достаточным ручательством за то, что она не употребит во зло своей независимости. Это было ясно. Но мы должны повторить факт, на который уже много раз приходилось нам указывать. Умеренные республиканцы были теоретики, не понимавшие условий практической жизни. Они во время прений о конституции постоянно поддерживали всевозможную независимость исполнительной власти от законодательной и возвышали ее силы. Кавеньяк и все министры говорили в этом смысле. Но вот дошла очередь до того параграфа, который определял способ избрания президента республики. Тут было два противные мнения, как и обо всем в государственных делах, у правой и левой стороны. Правая сторона хотела, чтобы президент исполнительной власти был избираем непосредственно нацией, — этим возвышалось величие исполнительной власти; левая сторона хотела, чтобы он был избираем Законодательным собранием, — через это, конечно, он становился ниже его. Тут Кавеньяк и министры заметили наконец, что дело идет о сохранении или низвержении тогдашнего порядка вещей во Франции. Они заметили, что при общем неудовольствии нации на них, умеренных республиканцев, при расстройстве партии реформаторов легко могут восторжествовать при выборах президента реакционеры, если выбор будет предоставлен нации. Кавеньяк и министры подали голос вместе с левой стороной в пользу предложения, чтобы президент республики был избираем Национальным собранием. Но было уже слишком поздно. Умеренные республиканцы слишком уже приучены были своими предводителями видеть на левой стороне смертельных врагов всякого общественного порядка и вслед за реакционными журналами кричать: *Les barbares sont à nos portes!* Они до того приучены были повертываться направо, что когда теперь их предводители вздумали сделать маневр налево, то были покинуты всем своим войском. Большинством четырехсот голосов было решено, что президент республики будет выбран не Законодательным собранием, а голосами всей нации.

Этим почти решена была судьба умеренных республиканцев, подавших голос против самих себя по неумению соображать результаты своих действий. Трудно было им надеяться на успех своего кандидата при выборе президента голосами всей нации, потому что ничего не сделали они для приобретения популярности, а между тем должны были перед общественным мнением нести ответственность за все те материальные невзгоды, которыми сопровождался февральский переворот.

Нельзя отрицать того, что Кавеньяк и его политические друзья искренно желали отвратить все злоупотребления, облегчить все тяжести, на которые жаловалась нация. Но еще неоспоримее то, что ничего не было сделано ими для исполнения этих желаний. Мы уже говорили о тех преобразованиях, какие надобно было бы сделать в бюджете, чтобы удовлетворить жалобам, которые сильно содействовали февральскому перевороту, и ожиданиям, которые были возбуждены этим переворотом. Реформы, нами указанные, были согласны с убеждениями умеренных республиканцев. Но эта партия была по рукам и по ногам связана реакционерами, провозглашавшими непогрешительность бюджета прежних лет и вопившими против всякой попытки сократить государственные расходы, которыми они пользовались, или заменить распределение налогов, благоприятное для них. Воображая себя в опасности от людей, убитых, сосланных или изгнанных в июне, умеренные республиканцы не могли энергически приняться и за вопрос о децентрализации, потому что всевозможное натягивание административных пружин казалось им нужно для охранения общественного порядка от опасностей слева, которых уже не было. Охотно приняли бы они какие-нибудь прямые меры для улучшения положения низших классов, но все эти меры уже предлагались реформаторами, каждая мысль которых представлялась умеренным республиканцам чем-то разрушительным для общества; а если и приходила умеренным республиканцам в голову какая-нибудь маленькая идейка о каком-нибудь маленьком законе, который бы несколько полезен был народу, реакционеры поднимали вопль, доказывая, что этот закон был бы подражанием проектам реформаторов, — и действительно нетрудно было доказать это, потому что на самом деле мысли умеренных республиканцев об улучшении состояния простолюдинов были бледными отражениями понятий, высказанных реформаторами, — и бедные умеренные республиканцы с испугом отступались от того из своих сотоварищей, который был обвиняем реакционерами в потворстве реформаторским теориям. Чтобы объяснить нагляднее эту [жалкую] нерешительность, мы укажем на единственную прямую меру, принятую Национальным собранием для улучшения участи работников. Собрание назначило 3 000 000 франков на пособие учрежденной ассоциаций между фабричными работниками, то есть для образования чего-то похожего на наши промысловые и ремесленные артели. Повидимому, ничто не могло быть невиннее такого назначения. Но надобно только прочесть доклады и речи, с которыми даны были эти деньги, чтобы понять, с какими чувствами простолюдины должны были встретить этот заем. Вот доклад, представленный Собранию Корбоном от имени комитета, рассматривавшего предложение об этом пособии и рекомендовавшего Собранию принять его.

«Наверное, в нашем Собрании нет ни одного члена, который не желал бы всем сердцем постепенного возвышения сословий, до сих пор сохранившихся в низком положении. С своей стороны мы искренно убеждены, что настанет время, когда большая часть работников перейдет из состояния наемщиков в состояние сотоварищей, как прежде перешли они из рабства в крепостное состояние, из крепостного состояния в вольные наемщики. Но эта перемена будет делом времени и личных усилий работников. Конечно, государство должно помогать ей; но каково бы ни было его участие в медленном осуществлении этого прогресса, участие государства будет в этом деле гораздо меньше, нежели участие, какое в нем должны иметь сами работники. Работник должен быть сыном своего труда, и если он некогда тем или другим способом получит в собственное распоряжение средства для производства своего промысла, этими средствами он должен быть прежде всего обязан собственным усилиям.

Мы знаем, что такой приговор мало удовлетворит ту часть рабочего класса, которую, напротив, уверили, что государство сделает все и что работникам надобно лишь пользоваться его содействием. Недостойны помощи те, которые не имеют мужества помочь сами своим делам, не имеют истинного понятия ни о свободе, ни о равенстве, ни о братстве, те, которые не хотят пытаться поднять себя постоянными и терпеливыми усилиями, а ждут, пока их поднимут другие.

Мы хотим, чтобы государство помогало работникам только пропорционально тем усилиям, которые будут делать они сами для приобретения в свое распоряжение средств к независимому труду.

Мы не исполнили бы всей своей обязанности, если бы не прибавили, что ассоциации, пользующиеся нашей помощью, должны необходимо подчиняться условиям соперничества, без которого нет самой свободы труда. Мы говорим это именно потому, что работников уверили, будто все их бедствия — результаты соперничества. До известной степени это справедливо; но напрасно от злоупотреблений соперничества заключать, что надобно уничтожить самое соперничество.

Для работников полезно будет услышать, что уничтожить соперничество — просто невозможность.

В самом деле, как уничтожить его? Силою власти? Но власть, которая возьмется за это, будет немедленно низвергнута. Посредством ассоциации, которая послужила бы зерном для всеобщей ассоциации? Но — (Корбон доказывает, что это также невозможно).

К счастью, настало время, когда эти важные вопросы будут обсуждены с национальной трибуны, которая своим авторитетом предостережет работников против идей, помрачивших, к сожалению, слишком многие умы.

Наши прения покажут, сколько правды в тех учениях, которые, прикрываясь формами строгой нравственности, прибегая к языку любви и преданности общему благу, в сущности зывают только к эгоизму и возбуждают против общества ненависть тем более глубокую, что ими раздражаются все желания у людей, не имеющих и необходимого».

С первого взгляда видно, что этот доклад составлен не столько под влиянием мысли провести меру, полезную для работников, сколько под влиянием заботы не показаться союзниками реформаторов и желанья внушить работникам, что их надежды на содействие государства в изменении их быта напрасны. Без всякой надобности Корбон толкует о неизбежности соперничества, о невозможности всеобщей ассоциации работников, которой нет и в помине, твердит, что государство ничего особенного не может сделать для работников, и т. д. Мог ли такой доклад произвести на работников хорошее впечатление? Нет, он представлялся для них

выражением антипатии к ним. И как легко приходили им мысли, которыми опровергались рассуждения доклада. Например, при словах «недостойны помощи те, которые не имеют мужества помочь сами своим делам» (*Ceux là ne sont pas dignes d'être aidés qui n'ont pas le courage de s'aider*), — при этих словах, составляющих основную мысль доклада, кому из нуждавшихся в содействии государства не приходило в голову такое возражение: «Но зачем же и существует государство, как не для охранения человека от бедствий, которых не может отворотить его собственное мужество и сила? Если так, полиция должна бы защищать от воров только того, который сам и без полиции в силах прогнать или убить вора; если же разбойники нападут на труса или больного, полиция не должна защищать от них этого человека, потому что «он не имеет мужества помочь себе». Да разве помощь нужна сильным и мужественным, а не слабым и забитым обстоятельствами?»

Но доклад Корбона был еще очень любезен сравнительно с теми речами, какие говорились по этому делу реакционерами. Корбон думал по крайней мере, что в оказываемом пособии есть что-то хоть отчасти справедливое и хотя несколько полезное. Предводитель реакционеров, знаменитый говорун Тьер, своим пискливым голосом кричал, что все это вздор, что деньги эти бросаются в печь, но что он с удовольствием соглашается бросить их в печь, потому что безуспешностью этой нелепой попытки помогать учреждению ассоциаций докажется нелепость самой мысли об ассоциациях, мысли сумасбродной и безнравственной. «Не три миллиона, а двадцать миллионов следовало бы вам требовать от нас, — говорил он Корбону, — мы дали бы вам их. Да, двадцати миллионов не пожалели бы мы на поразительный опыт, который должен исцелить вас всех от этого колоссального сумасбродства».

Выдачу этих денег считали милостынею и прямо говорили, что бросают их совершенно бесполезно; из этого следовало бы заключать по крайней мере, что пособие оказывается безвозмездно. Вовсе нет: три миллиона назначались вовсе не в безвозмездное пособие, а просто в заем ассоциациям, которые должны были постепенно возвращать в казну сполна всю полученную ими ссуду. Прилично ли, возможно ли кричать, что даришь деньги, когда даешь их взаймы? Прилично ли тут хвастаться своим великодушием? Прилично ли кричать о пропаже денег? Заем, выдаваемый с такими речами, оскорбит каждого, в ком осталось хоть несколько уважения к себе.

Наконец, не говоря уже обо всем этом, какое впечатление должна была производить самая величина ссуды? 700 000 рублей серебром на целое государство в пособие сословию, составляющему гораздо более семи миллионов человек. Скупость доходила тут до иронии. Какое впечатление должны были производить эти жалкие три миллиона франков по сравнению с десятками миллионов, ежегодно выдававшимися от казны на покровитель-

ство биржевым спекуляциям? Но банкиры и биржевые спекулянты как будто от природы получили привилегию на поощрение от французского правительства. Сумм, которые растрачиваются казной для них, не следует сравнивать с деньгами, назначаемыми в пособие черному народу; можно сравнивать по крайней мере величину сумм, назначаемых на разные способы пособия черному народу. В то самое время, как определялось три миллиона для ассоциаций во Франции, ассигновалось 50 миллионов на переселение пролетариев в Алжирию. Речи и обстоятельства, которыми сопровождался закон об этой колонизации, делали это переселение совершенно подобным ссылке, предпринимаемой для удаления из Франции опасных людей, из которых большинству предстоит на новом месте жительства погибнуть от лишений всякого рода и кабийских пуль. В этом смысле и было принято переселение простолюдины; они сочли его не результатом заботливости о них, а следствием желания удалить из Франции предприимчивых и потому опасных простолюдинов. Какое же впечатление производилось на работников сравнением трех миллионов, с упреками и дурными предсказаниями выдаваемых на исполнение задушевного убеждения простолюдинов, и 50 миллионов, назначаемых на ссылку, прикрытую именем колонизации?

Ссуда на учреждение ассоциаций была единственной сколько-нибудь важной мерой Кавеньяковского правительства для приобретения популярности. Очень мало было принято даже и незначительных мер с этой целью, да и те все были обсуждаемы и исполняемы в таком же духе, как выдача ссуды ассоциациям. Очень натурально, что чувство, с которым народ смотрел на Кавеньяка и его партию после июньских дней, нимало не улучшилось в течение следовавших за тем месяцев. Умеренные республиканцы не сделали совершенно ничего для привлечения к себе народа, и народ продолжал смотреть на них как на людей, от которых нечего ему ждать.

Политика умеренных республиканцев была очень неудачна в делах внутреннего управления. Этот недостаток мог бы до некоторой степени замениться блеском и популярностью внешней политики. Случаев к тому представлялось много, и некоторые из них были до того благоприятны, что самый нерасчетливый человек легко понимал их драгоценность.

Мы укажем только два важнейшие.

Во Франкфурте-на-Майне собрался немецкий парламент с целью дать немецкому народу государственное единство. По правилу, нами принятому, мы вовсе не будем рассматривать, хороша или дурна была эта цель, точно так, как мы вовсе не говорили и о том, хороши или дурны были стремления Кавеньяка и его политических друзей. Мы обращаем внимание только на то отношение, какое существовало между потребностями положения, в каком находилось правительство Кавеньяка, и делами Франкфуртского

парламента, и хотим показать, что Кавеньяк и его партия не умели действовать сообразно с своими выгодами. Франкфуртский парламент искал дружбы Франции; он был проникнут теми же понятиями, как и правительство Кавеньяка, — действовал в духе того демократизма, который против так называемой демагогии враждует гораздо сильнее, нежели против реакции. Подобно правительству умеренных республиканцев во Франции, Франкфуртский парламент вышел из революционного движения; подобно умеренным республиканцам Франции, он утвердил свое значение кровопролитным подавлением революционного движения, из которого возник сам; подобно умеренным республиканцам, он был уже в большой опасности от усиливавшейся реакции (от которой скоро и погиб, подобно им); и подобно им совершенно не понимал и не замечал этой действительной опасности, воображая, что опасность грозит ему совсем не с той стороны. Словом сказать, по своим идеям Франкфуртский парламент занимал среди немецких партий точно такое же положение, как правительство Кавеньяка среди французских партий. Союз между правительствами столь однородными казался бы неизбежным. Франкфуртский парламент, не находивший поддержки ни в одном из иностранных правительств, чрезвычайно дорожил надеждой на дружбу с Францией и готов был чрезвычайно дорого заплатить за эту дружбу. Тайные инструкции, данные на этот случай его агенту в Париже, не обнародованы; но хорошо известны мнения людей, господствовавших во Франкфурте, и не трудно отгадать, на какие важные уступки согласились бы они. [В них была одинаково сильна нелюбовь к Пруссии и идея государства, составленного исключительно из немецких элементов. В Рейнской провинции Пруссия владеет несколькими округами, жители которых французы. При ловком ведении дел не было невозможно французскому правительству надеяться на расширение границ Франции с этой стороны. Ничего не стоило Франции оказать стремлению немцев к политическому единству такие услуги, за которые были бы с радостью даны немцами всевозможные вознаграждения. Дипломатическое содействие, несколько сильных мемуаров, несколько твердых инструкций французским посланникам при европейских дворах — вот все, чего требовалось на первый раз.] Но вместо того, чтобы вступить в выгодный союз, французское правительство даже не приняло посланника от Франкфуртского парламента.

Еще яснее немецкого вопроса был итальянский, еще очевиднее была выгода французских правителей принять в нем участие. Не говорим уже о том, что итальянцы проникнуты были чрезвычайным сочувствием к Франции и выступали с теми же лозунгами, которые находились на знамени тогдашнего парижского правительства, — не говорим об этих соображениях, основанных на фактах настоящего; даже дипломатическая рутина требовала, чтобы Кавеньяк принял сторону итальянцев против австрийцев.

Австрия была всегда соперницей Франции, издавна дипломатические и военные торжества приобретались Францией преимущественно в борьбе против этой державы. Но и тут правительство Кавеньяка не сделало ровно ничего. Не была подана итальянцам материальная помощь, когда они нуждались в ней; а когда после поражения итальянских армий Франция решилась, наконец, принять посредничество с целью противодействовать слишком сильному перевесу Австрии, дело было ведено чрезвычайно слабо и вяло и кончилось совершенно в пользу Австрии и в стыд Франции.

Таков общий характер управления Кавеньяка. Внутренние вопросы настоятельнейшим образом требовали разрешения, — ничего не было сделано для этого, и путь, избранный правительством Кавеньяка во внутренней политике, прямо противоположен был и смыслу обстоятельств, и выгодам правительства. Слава внешнего могущества, блеск дипломатических и военных торжеств мог бы доставить правительству Кавеньяка ту популярность, которой не могла доставить внутренняя политика, — внешняя война отвлекла бы внимание от внутренних вопросов, соединила бы всю нацию под знаменами правительства, но и этого не поняли и этим не воспользовались умеренные республиканцы.

Таким образом, когда настало время выборов президента республики, умеренные республиканцы не могли похвалиться ничем, кроме июньского кровопролития; ничего не сделали они для смягчения ненависти, возбужденной этими жестокостями в одном из двух лагерей, и своим излишним криком об ужасных намерениях этого лагеря ободрили притязания предводителей противной партии. Ничего не сделали они для нации, оттолкнули от себя одни партии и сделали надменными другие партии.

Тем не менее слабость всех других партий была так велика, что ни одна из них не могла выставить своего кандидата с надеждой на успех. На это рассчитывали умеренные республиканцы и ожидали, что все благоразумные люди соединятся около их кандидата за недостатком другого.

Действительно, так поступали многие из людей, желавших поддержать новые формы государственного устройства. За Ледрю-Роллена подало голос только меньшинство из тех, которые принадлежали к партиям, выставившим его своим кандидатом; большинство их политических друзей, видя, что Ледрю-Роллен ни в каком случае не будет избран, подали голос за Кавеньяка, для общего интереса пожертвовав своими неудовольствиями против него и умеренных республиканцев.

Многие из людей, которых преследовало правительство Кавеньяка, поддерживали его из преданности интересам Франции. Не так поступили партии, которым оно делало всевозможные уступки: гордость их возросла до того, что они уже не хотели никаких сделок с республиканцами; они дали ненависти до того

овладеть собой, что выставили вперед человека, по своим стремлениям гораздо более враждебного им, нежели Кавеньяк, лишь бы только низвергнуть Кавеньяка.

Здесь не место излагать историю Луи-Наполеона Бонапарте до декабря 1848 года. Мы должны только показать его отношения к партиям при тех выборах, которыми решалась участь Франции.

Партия бонапартистов никогда не исчезала во Франции, но всегда была чрезвычайно слаба, так что вовсе не могла считаться серьезной политической партией; по своему бессилию она не могла быть никому опасна. Она пользовалась совершенным простором для действий благодаря всеобщему невниманию к ней.

Первое, что придало бонапартизму некоторую важность, были неблагоприятные поступки реакционеров и умеренных республиканцев по вопросу о главе бонапартистов Луи-Наполеоне. В феврале он просил у нового правительства разрешения возвратиться во Францию, из которой был изгнан постановлениями прежних правительств. Он уже тогда считал себя претендентом на французский престол; но его притязания были тогда еще бессильны; люди проникательные говорили, что не нужно придавать ему важность, показывая вид, что его опасаются, и предлагали, чтобы ему было позволено возвратиться. Реакционеры и умеренные республиканцы отвергли этот совет. Следствием этого было повторение просьб и жалоб с его стороны. Благодаря отказу ему удалось возбудить к себе внимание и сожаление во многих. Если с первого раза отказали ему, следовало уже твердо держаться этого решения; но через несколько времени ему позволили возвратиться. Уже успев наделать шума своими просьбами и жалобами, он теперь отважился выставить себя кандидатом в президенты.

Реакционеры не имели кандидата, которого могли бы противопоставить Кавеньяку. Они распались на несколько партий, из которых ни одна не хотела уступить другой перевеса. Притом же все предводители этих партий были на дурном замечании у народа. Надобно было выбрать нейтральное имя, на котором могли бы соединиться ультрамонтанцы, легитимисты и орлеанисты, — духовенство, аристократы и капиталисты; надобно было отыскать такого кандидата, против которого нация еще не имела бы предубеждения и кандидатство которого обозначало бы только протест против партии, управлявшей Францией с февраля, и не означало бы ничего другого, потому что в этом одном были согласны реакционеры. Этот кандидат реакционеров, которого надобно было найти вне реакционных партий, должен был не представляться для них опасным по своей силе, должен был получить власть из их рук, держаться только их поддержкой и без них не значить ничего. Именно таким человеком представлялся им Луи-Наполеон. Ничтожность его собственной партии была причиной, что на нем остановился выбор реакционеров, ко-

горые думали, что как теперь без них он ничего не значит, так и потом ничего не будет значить без них и что они будут управлять его именем.

Таким образом все реакционеры единодушно стали за Луи-Наполеона. Этим приобреталась ему почти половина голосов на выборах.

Тогда масса реформативных партий, увидев, что остается избирать только между Луи-Наполеоном и Кавеньяком, увлеклась ненавистью к умеренным республиканцам за июньские события и решила предпочесть Луи-Наполеона. Умеренные республиканцы доказали, что от них нельзя народу ждать ничего хорошего; Луи-Наполеон будет во всяком случае не хуже, а быть может, окажется и лучше их. Правда, его поддерживают реакционеры, но он сам не принадлежит к ним. Во всяком случае сам по себе он не имеет никакой силы, и его выбор имеет только значение переходного факта, временного перемирия между партиями, из которых еще ни одна не довольно сильна, чтобы одной ей победить умеренных республиканцев и все другие партии. Его власть будет только до того времени, как мы оправимся от июньского поражения, пусть же до той поры, когда мы в состоянии будем надеяться на победу, продолжается перемирие, и пусть будет власть в нейтральных руках человека, который не может помешать нам, потому что сам по себе бессилён.

Точно так же думали и реакционеры. Правление Луи-Наполеона каждая из их партий принимала только как переходную ступень к собственному торжеству, как перемирие с другими партиями до того времени, как она сама станет сильнее всех других.

Для всех подававших за него голос, он казался безопасным орудием для низвержения умеренных республиканцев, казался нейтральным агентом, которому поручается временное ведение дел до той поры, как доверитель сам почтет удобным взять дела из его рук в свои.

Таким образом при выборах президента партии стали в следующее положение относительно трех кандидатов.

За Ледрю-Роллена была только небольшая часть людей левой стороны, — именно только те, которые компрометировали бы свою политическую репутацию, если бы подали голос не за официального кандидата своей партии. Масса этой партии подала голос за Луи-Наполеона.

За Кавеньяка были умеренные республиканцы и сверх того люди, которые никогда не желают никаких перемен, — число последних было в то время разгара политических страстей гораздо менее обыкновенной пропорции.

За Луи-Наполеона были все реакционеры и масса приверженцев левой партии, предводители которой по своему положению

перед общественным мнением не могли покинуть Ледрю-Роллена. Все приверженцы реформаторов, не имевшие своего кандидата, подали голос за Луи-Наполеона.

При этом расположении партий все более или менее предвидели результаты выборов; все знали, что Кавеньяк не получит большинства, все были уверены, что коалиция, избравшая своим орудием Луи-Наполеона, составит большинство голосов.

Тут умеренные республиканцы, покидая власть, в первый раз приняли образ действий, соответствовавший обстоятельствам. Дела дошли до такого состояния, при котором все меры воспрепятствовать выбору Луи-Наполеона остались бы напрасными, и правительство Кавеньяка не позволило себе ни одной интриги, ни одного незаконного действия во вред своему противнику. Честность Кавеньяка и его друзей в этом отношении заслужила им всеобщее уважение, и действительно она была беспримерна в истории Франции. С незапамятных времен в первый раз французы видели правительство, которое закон ставит выше собственных интересов и не хочет злоупотреблять своей силой для продолжения своей власти. Но и тут мы не знаем, понимали ли умеренные республиканцы, что все попытки сопротивления с их стороны были напрасны; действовали ли они как государственные люди, понимающие состояние дел и сознательно отказывающиеся от невозможного, — или они еще полагали, что могли бы удержаться, если бы прибегли к интригам, стеснительным мерам и открытой силе. По соображению всего, что говорили мы о прежней их неспособности понимать обстоятельства, надобно склоняться к последнему предположению.

Как бы то ни было, правительство Кавеньяка оставило полную свободу выборам, неблагоприятный исход которых предвидело, и с благоговением уступило результату выборов.

В выборах приняли участие 7 324 672 избирателя; из них подали голос:

За Ледрю-Роллена	407 039
» Кавеньяка	1 448 107
» Луи-Наполеона	5 434 226

20-го декабря результат выборов был проверен Национальным собранием. Кавеньяк взошел на трибуну, в немногих, но прекрасных словах выразил свою покорность воле нации и сложил с себя власть.

С этого дня умеренные республиканцы потеряли всякое влияние на ход событий, их политическая роль во Франции окончилась.

Полугодичное их управление Францией дает много уроков людям, думающим о ходе исторических событий. Из этих уроков важнейший тот, на который преимущественно и указывают факты, нами изложенные.

Нет ничего губительнее для людей и в частной и государственной жизни, как действовать нерешительно, отталкивая от себя друзей и робея перед врагами. Честный человек, стремящийся сделать что-нибудь полезное, должен быть уверен в том, что ни от кого, кроме людей, действительно сочувствующих его намерениям, не может он ждать опоры, что недоверие к ним и доверие к людям, желающим совершенно противоположного, не приведет его ни к чему хорошему. Напрасно стал бы он думать, что какими бы то ни было потворствами может он смягчить партию, которая не одобряет его коренных желаний, — вражда этой партии к нему останется непримирима, и для того, чтобы удержать за собой свои мнимые выгоды, она всегда готова будет погубить человека, намерения которого ей противны [с ними вместе готова погубить государство], — конечно, погибнет потом и сама, как погибли и французские реакционеры при Луи-Наполеоне, но, ослепленная ненавистью, она не разбирает средств и не предвидит будущего.

Государственный человек не должен вверять ведения дел, не должен оставлять влияния на ход событий врагам своих намерений. Только при этом условии дела пойдут так, как он того хочет.